

# Шар и крест

## Часть первая

### Глава I НЕОКОНЧЕННЫЙ СПОР

Аэроплан профессора Л. серебряной стрелой разрезал небеса, сверкая в холодной и синей бездне вечера. Мало сказать, что он летел над землею – тем двоим, кого он нес, казалось, что он летит над звездами. Профессор сам сконструировал его, и все в нем было искаженным и причудливым, как и подобает чудесам науки. Мир наук несравненно туманней и неуловимей, чем мир поэзии; ведь в поэзии и в вере мысли и образы верны себе, тогда как, скажем, сама идея эволюции зыбка, словно тяжкий сон.

Все детали и предметы в аэроплане профессора Л. были такие же, как у людей, только на себя не похожие. Они как бы забыли свое назначение и обрели иную, чудовищную форму или иное имя. Штука, похожая на большой ключ с трех колесами, была чем-то вроде револьвера; гибрид двух пробочников – ключом. Открывалось этим ключом что-то похожее на велосипед и очень важное. Все это создал сам профессор – совершенно все, кроме себя и своего пассажира.

Пассажира этого он в самом прямом смысле слова выудил из маленького садика в горах и, хотя не создавал его, собирался над ним поработать. Обитатель болгарских то ли греческих гор просто светился сквозь заросли седых волос; видны были, собственно, одни глаза, и казалось, что ими он разговаривает. Он был необычайно умен и мудр, и не знал печали в своей окруженной горами хижине, обличая ереси, чьи последние приверженцы переказнили друг друга 1119 лет тому назад. Ереси эти содержали немалый соблазн, и монах сумел обличить их; однако никто, кроме него, не понял бы хода его мыслей. Звали его Михаилом (фамилию я писать не стану, западным людям все равно не прочитать ее) и, повторяю, он счастливо жил со зверями в своей хижине. Даже теперь, когда ученый безумец вознес его превыше гор, он не утратил своей радости.

– Милый мой, – говорил профессор, – я не собираюсь убеждать вас доводами. Нелепость вашего предания ясна всякому, кто знает сей мир тем знанием, которое велит нам избегать сквозняков и нищих. Поистине глупо спорить о таких глупостях. Когда поживешь среди людей...

– Простите меня, – слышалось из белых зарослей, – значит, вы подняли меня в небеса, чтобы я пожил среди людей?

– Занятный вопрос, в узком схоластическом духе, – отвечал профессор. – Что ж, я докажу мою мысль, исходя из вашей. Ваша религия, насколько мне известна, считает небо символом и даже источником правды и милости. Ну вот, вы – в небе, судите сами. Небо жестоко. Пространство страшнее тигра или чумы. Надежды в нем не больше, чем в аду, а правды тоже. Если для несчастного потомка обезьяны есть утешение и упование, оно – на земле, и...

– Простите, что прерву вас, – сказал отец Михаил, – но я всегда замечал...

– Так, так! – подбодрил его профессор. – Люблю ваши немудреные мысли!..

– Вы так прекрасно говорите, – продолжал монах, – и вы, и вся ваша школа... но я припомнил ее историю и пришел к странным выводам, которые нелегко передать, особенно на чужом языке.

– Слушаю, слушаю! – все подбадривал его ученый. – Итак?

– Я заметил, – мягко промолвил отец Михаил, – что особенно красиво вы проповедуете как раз тогда, когда... ну, как бы это сказать?

– Прошу, прошу, договаривайте! – нетерпеливо вставил профессор.

– Словом, ваш аэроплан сейчас во что-то ударится, – закончил монах, – простите, что я об этом говорю, но лучше вам знать заранее... – Профессор вскрикнул и пригнулся к рулю. Последние десять минут они летели вниз сквозь кручи и пещеры облаков. Теперь, за лиловатым туманом, словно островок в облачном море, темнело что-то вроде макушки огромного шара. Глаза профессора блеснули огнем безумия.

– Новая планета! – закричал он. – Я назову ее моим именем. Да, именно ей, а не пошлой Венере, пристало называться светоносной, денницей, светилом зари. Здесь не будет суеверий, здесь не будет

богов, здесь человек станет невинным и безжалостным, как полевой цветок, здесь человеческий разум...

– Простите, – несмело сказал монах, – там что-то торчит...

– И верно, – согласился профессор (очки его сверкнули ученым восторгом), – что бы это могло быть?

Тут он дико закричал и выпустил руль. Монах не очень удивился, ибо привык в своем отсталом краю, что некоторые создания кричат именно при виде этого предмета. Он устало взялся за руль, и как раз вовремя, чтобы аэроплан не врезался в купол собора.

Тусклое море облаков лежало почти у самой его вершины, и крест на макушке шара казался буйком среди свинцовых волн. Когда аэроплан подлетел к ним вплотную, облака стали четкими, словно камни на серой равнине. Лететь сквозь них было неприятно, словно древний утес оказался куском масла или, точнее, взбитым белком. Однако еще удивительнее были мгновенья, когда внезапный и удушливый сумрак сменился бурным туманом, который где-то пониже как бы разгорался, обращаясь в огонь. Сквозь плотную лондонскую мглу сверкали огни, сливавшиеся в квадраты и полосы. Можно было сказать, что мгла утопает в пламени; можно было сказать, что пламя подожгло мглу. Самолет летел рядом с куполом, который, словно морское чудовище, возвышался над морем улиц или, если хотите, висел в беззвездном небе, ибо туман скрыл звезды от отца Михаила и профессора Л.

Монах и ученый пролетели от купола так близко, что профессор, оставив руль на секунду, оттолкнулся от него, как отталкивается от берега тот, кто правит лодкой. Крест, тонувший во мраке, казался снизу и больше, и причудливей.

Профессор погладил огромный, шар, словно гигантского зверя, и сказал:

– Вот это по мне!

– Что же именно? – спросил монах.

– Да вот это, – повторил профессор. – Люблю этот символ. Как он завершен, как довлеет себе! Я говорил вам, мой милый, что могу опровергнуть ваши бредни, отталкиваясь от чего угодно; Что же выразит лучше разницу наших мировоззрений? Шар сообразен разуму, крест – несообразен. Шар – логичен, крест – нелеп и произволен. Шар в ладу с самим собою, крест себя отрицает. Крест – это спор противных друг другу линий, и примирить их нельзя. Он противоречив по самой своей форме.

– Вы совершенно правы, – отвечал монах. – Мы не страшимся противоречий. Человек – это противоречие: он тем и выше братьев своих, животных, что способен к падению. Вы говорите, крест – нелеп и произволен. Форма креста произвольна и нелепа, как человеческое тело.

Профессор Л. нахмурился и сказал:

– Без сомнения, все относительно. Не стану отрицать, что элемент борьбы, противоречия, спора занимает свое место в природе. Однако элемент этот ниже полноты, заключенной в шаре. Да сами посудите, сразу видно, что Кристофер Рен допустил серьезную ошибку.

– Простите, какую же? – кротко спросил монах.

– Крест стоит на шаре, – отвечал профессор. – Это бессмысленно, шар должен стоять на кресте. Крест, в самом лучшем случае, уродливое дерево прошлого; шар – совершенный плод будущего. Итак, крест увенчивается шаром, а не наоборот.

– Ну что же, – покладисто сказал монах, – представим себе эту аллегория. Она очень хорошо показывает, чем дурны ваши схемы. Вы сами представьте, что случится, если мы поставим шар на крест.

– О чем вы говорите? – вознегодовал профессор. – Что случится?

– Все рухнет, – отвечал монах.

Профессор сердито поглядел на него и хотел было говорить, но монах продолжал:

– Я знал такого, как вы...

– Такого, как я, на свете нет, – вставил профессор.

– Я знал, – повторил монах, – человека, ненавидевшего крест. Сперва он запретил жене носить крестик и вешать в доме распятия. Потом он стал ломать кресты на дороге, ибо жил в стране, где распятия ставят у дорог. Однажды он изрубил изгородь, заметив, что ветви переплетаются крестом. Когда он вернулся домой, он был уже безумен. Он увидел перекрестие балок, и те скрещения досок, которыми держится мебель. Словом, он разнес в щепы все, что мог, и утопился.

– Это правда? – спросил профессор.

– О, нет, – отвечал монах, – это притча! Притча о вас и таких, как вы. Сначала вы отрицаете

крест; потом – все на свете. Мы согласимся, когда скажут, что нельзя загонять силой в церковь, но вы немедленно скажете, что никто не ходит туда по доброй воле. Мы не спорим тогда, когда вы сомневаетесь в существовании рая, но вслед за этим вы отрицаете существование Англии. Сперва вы ненавидите все, что не сведешь к логике, потом – просто все, ибо ничто в мире не сводится к логике без остатка.

Профессор Л. за это время поднялся немного выше; тут он крикнул:

– Каждому свое!

И с невиданной силой подняв монаха одной рукою, он опустил его на перекладину креста, венчавшего собор.

– Ну как? – с издевкой спросил он. – Спасает вас крест?

– Я за него держусь, – отвечал монах. – С шара бы я упал. Неужели вы меня здесь и оставите?

– Конечно! – вскричал профессор. – Мой путь ввысь, туда, к сверкающим звездам!

– Много раз вы говорили мне, – напомнил монах, – что верх и низ – понятия относительные.

Мой путь тоже ведет наверх.

– Вот как? – спросил ученый. – В каком же это смысле?

– Я попытаюсь влезть на звезду, – отвечал монах. – Во всяком случае, на небесное тело.

И он указал вниз, на Ладгэйт-хилл.

Поверхностные люди полагают, что парадокс – что-то вроде притянутой за уши шутки. Такие парадоксы можно встретить в декадентской комедии, где денди говорит: «Жизнь слишком серьезна, чтобы принимать ее всерьез».

Те, кто посмотрит на дело внимательней и глубже, обнаружат, что религия кишит парадоксами. Пример такого парадокса: «Кроткие наследуют землю». Те же, кто взглянется в самую глубину, увидят, что парадоксально все, что значительно. Именно это заметил бы каждый, кому довелось бы висеть над куполом собора, вцепившись в перекладину креста.

Несмотря на годы, несмотря на посты (вернее, благодаря им), отец Михаил отличался и силой, и ловкостью. Вися над бездной, он понял то, что понимают в опасности; то, что и зовется истинным мужеством. Как и всякий нормальный человек, в такую минуту он понял, что главная опасность – страх, а единственная надежда – спокойствие, доходящее до беспечности, и беспечность, доходящая до безумия. Единственный шанс остаться живым заключается в том, чтобы не держаться за жизнь. На куполе могли быть какие-нибудь ступеньки, но чтобы добраться до них, нужно было о них забыть. Безумно спускаться по гладкому шару; умно – висеть, пока не свалишься. Противоречие это повторялось в его сознании, как повторяется в мире противоречие креста. Он вспомнил слова: «Кто хочет сохранить душу свою, потеряет ее», и – как бывает в некоторых толкованиях – понял, что слово «душа» здесь можно заменить словом «жизнь». Он узнал истину, ведомую, скажем, всем альпинистам: стих этот прекрасно подходит и не к духовной, а к обычной земной жизни.

Не все поверят, что человек в его положении может философствовать. Однако не стоит судить о том, что может, а чего не может быть в такие минуты. Нередко разум работает особенно живо и четко, когда человек потерял и возможность, и даже надежду спастись. Тем более не стоит эти минуты описывать. Здоровые мысли сменились диким страхом – страхом зверька, которому враждебен весь мир. Десять минут, отданные этому страху, не описал бы никто, не буду описывать и я. Они же сменились той полной покорностью, о которой тоже не напишешь, ибо она непостижимей ада и, быть может, – последняя тайна, которую скрывает от нас Господь. На самой вершине страха мы обретаем непостижимый покой. Это не надежда, ибо надежда – чувство, она романтична и устремлена в будущее. Это не вера, ибо вера исполнена сомнения и вызова. Это не мудрость – разум как будто отключен. Наконец, это не оцепенение горя (как сказали бы глупые нынешние люди). Состояние, о котором я пишу, не отрицательно; оно положительно, как благая весть. Собственно, мы можем назвать его благой вестью – словно существует некое высшее равновесие, о котором нам знать не положено, чтобы мы не стали равнодушны к добру и злу; и знание это открывают нам на мгновение, как последнюю помощь, когда никакой другой помощи быть не может.

Отец Михаил не сумел бы поведать об удивительном спокойствии, сошедшем на него; но он с необычайной ясностью понял, что крест есть, и купол есть, что они преисполнены бытия – и что он спускается по ним, и что ему безразлично, разобьется он или нет. Состояние это длилось достаточно, чтобы он начал свой безумный спуск; но страх шесть раз накатывал на него, прежде чем он достиг верхней галереи.

Он ощущал, как ощущает пьяный, что у него – два сознания: одно, спокойное до

бесконечности, приносит пользу; другое – перепуганное насмерть – не приносит ничего. Достигнув галереи, он удивился – ему казалось, что придется ползти лицом к шару до самого низа – и, хотя до земли было далеко, словно он упал на луну с солнца, он с удовольствием потоптался, разминая ноги. И тут душу его пронзила молния: человек, обычный человек, украшенный множеством пуговиц, стоял на его пути. Отец Михаил не думал о том, почему он здесь; радость и любовь переполнили его сердце. Он хотел бы постигать, один за другим, бесценные оттенки его чувств, и чувств его тетки, и чувств его тещи. Минуту назад он умирал в одиночестве. Теперь он жил в том же самом мире, что этот дивный человек. На верхней галерее, огибающей купол собора, отец Михаил обрел самого лучшего из людей, самого благородного и достойного любви, того, кто чище святых, величественнее героев – он обрел Пятницу.

Сквозь музыку и сверканье явленного рая монах едва различал, что человек произносит какие-то слова. Он заметил лишь слово «время» и дивное слово «порядок». Заметил он и выражение: «Как вы сюда долезли?» Несомненно, этот истинный образ Божий тоже считал, что путь от креста к галерейке ведет вверх, на небесное тело, именуемое Землею.

Вопрос этот повторялся столько раз, что отец Михаил, наслаждавшийся сперва самими звуками голоса, решил на него ответить. Он честно сказал, что летел над куполом, но его силою посадили на крест. Услышав это, образ Божий растрогался донельзя и заговорил ласково, как с любимым ребенком. Любовь его дошла до того, что он обнял монаха и осторожно повел по галереям, суля какие-то радости, которые даже анахорету, мало знавшему мир, показались немного чрезмерными. В одном месте приоткрылась дверца; отец Михаил заглянул вовнутрь и увидел свод небес, на сей раз созданный людьми. Золото, зелень и пурпур этого свода слагались не в изменчивые гряды облаков, а в четкие фигуры серафимов. Звезды сверкали здесь не наверху, а внизу, над плотной массой людей. Звуки органа сотрясали воздух, и сквозь них долетали еще более дивные звуки – голоса человеческие, взывающие к Богу.

– Нет, не сюда, – сказал образ Божий, усеянный звездами пуговиц. – Идемте-ка дальше, там хорошо, там вас ждет сюрприз, вы очень обрадуетесь...

Отец Михаил кротко пошел дальше. Он не знал, далеко ли до земли, когда открылась еще одна дверь, и перед ним засверкала улица. Монах несказанно обрадовался, словно снова стал ребенком. Он смотрел на мостовую деловито, как смотрят дети, от которых она близко. Он ощущал во всей полноте ту радость, которая неведома гордым; радость, которая граничит с унижением, нет – которая от него неотделима. Она ведома тем, кто спасся от смерти, и тем, к кому вернулась любовь, и тем, чьи беззакония покрыты. Он наслаждался всем, что видел, – не лениво, как эстет, а жадно и мирно, как мальчик, который ест пирожки. Его умиляло, что дома похожи на кубики, и четкость их граней радовала его, словно он сам вырезал их из дерева. Светлые квадраты витрин восхищали его, как восхищают они всех детей. Должно быть, он был самым счастливым из детей человеческих, ибо в те минуты, когда он висел над собором св. Павла, мир исчез и родился снова на его глазах.

Вдруг зазвенело стекло, и лондонская толпа со свойственной ей быстротой кинулась на звон. Осколки, словно звезды, сверкали на плитках тротуара. Полицейские уже держали высокого человека с темными прямыми волосами и удивленным взором; на плечо его был накинута серый шотландский плед.

– Ничуть не жалею! – говорил молодой человек, бледнея от гнева. – Вы читали, что там написано?

Тут он увидел одежды отца Михаила и жестом истинного католика швырнул на землю серый шотландский берет.

– Отец, рассудите нас! – крикнул он. – Посмотрите, что там написано... вы только посмотрите!

Отец Михаил почувствовал, что люди не замечают только что сотворенного мира. Они вели, как всегда, свои глупые, простительные, бессмысленные споры, где так много можно сказать в защиту каждого, а лучше не говорить ничего. Ему захотелось передать им свою радость, чтобы они не двинулись с места, пока не удивятся своей улице и не обрадуются друг другу. Крест, с которого он спустился сюда, отбрасывал тень своей непостижимой милости; и первые три слова прозвенели серебром. Люди застыли на месте – но тяжелая рука Пятницы упала на его плечо.

– Старичок не в себе, – добродушно объяснил он зевакам. – Гуляет по самой верхней галерее и говорит, что прилетел. Мне бы кого на помощь. Лучше констебля...

Констебль нашелся и помог. Другие два констебля занялись молодым человеком, а четвертый – владельцем разбитого стекла. Их увезли в полицию, куда последуем и мы, а счастливейшего из

людей увезли в сумасшедший дом.

## Глава II УБЕЖДЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО СУДЬИ

Газета «Атеист» не пользовалась особой популярностью; она не подходила к атмосфере этих мест. Здесь не любили и не читали Библию, и редактор тщетно вопрошал, как удалось Ною засунуть в ковчег жирафа. Тщетно указывал он на то, что антропоморфность Бога-Отца противоречит Его бесплотности; тщетно сообщал, сколько платят в год епископу за то, что тот притворяется, будто верит в миф об Ионе, тщетно приводил точные размеры китовой глотки. Никого это не трогало. Крест на вершине собора и редакция у его подножия были одинаково чужды миру. Редакция и крест одинаково и одиноко парили в небесах.

Безразличие это не столько сердило, сколько удивляло свирепого невысокого шотландца с огненными волосами, носившего фамилию Тернбулл. Он писал и печатал немислимые кошунства, а читатель, по всей видимости, принимал их равнодушно, как газетную болтовню. Кошунства становились все страшнее и покрывались все более толстым слоем пыли, а редактору казалось, что он живет среди полных дураков. Шли годы, и с каждым из них людей все меньше трогало, что в маленькой редакции на Ледгэйт-хилл умер Бог, Те, кто не отставал от времени, Тернбулла порицали. Социалисты указывали ему, что обличать надо не священников, а буржуев; служители искусств – что душу надо освободить не от веры, а от нравственности. Шли годы, и наконец явился тот, кто отнесся к делу серьезно, – молодой человек в шотландском плее разбил в редакции окно.

Человек этот тоже родился в Шотландии, но на севере, в горах. Его черты и гладкие черные волосы напоминали о той исторической загадке, которая зовется «кельтской кровью», хотя она, вероятно, древнее кельтов, кто бы они ни были. Принадлежал он к клану Макдональдса, но семья его, как нередко бывает, носила имя одной из ветвей, и звался он Эван Макиэн. Рос он одиноко, людей почти не видел, воспитан был в католичестве, ибо родился среди тех немногочисленных католиков, которые остались верны Стюартам; а очутился на Флит-стрит потому, что ему туманно обещали там какую-то работу. Перед статуей королевы Анны он обнажил голову, твердо веря, что это – Дева Мария, и удивляясь, почему прохожие как бы не видят ее. Он не знал, что в их сердцах запечатлен утешительный и неопровержимый факт: они так же уверены в том, что эта королева умерла, как уверен он в том, что жива Царица Небесная. Покинув родные места, он, по случайности, встречал до сих пор или равнодушных, или лицемерных людей. Если же кто-нибудь произносил при нем одно из принятых ныне богохульств, он просто не понимал, что это значит.

На кромке горной страны, где он провел детство и юность, утесы были причудливы, как тучи, и казалось, что небеса смиренно сошли на землю. На закате, когда смешивались зелень, золото и пурпур, острова и облака было трудно различить. Эван жил на границе того и этого мира. Как многие люди, которые росли рядом с природой и простой сельской утварью, он понял сверхъестественное раньше, чем естественное. Он знал, что платье Пречистой Девы – голубое, когда еще не знал, какого цвета шиповник у Ее ног. Чем дальше уходила его память в сумрачный дом детства, тем ближе подходила она к тому, что не поддается словам. Явленный взору мир лишь напоминал ему давнее видение. Горы и небеса были подобиями рая, звезды – рассыпанными алмазами Богоматери.

Мирские его убеждения тоже не отличались современностью. Предок его погиб при Каллодене, твердо веря, что Господь восстановит на престоле истинного короля. Десятилетний сын этого предка взял страшный палаш из мертвой руки и повесил на стену, для будущего восстания. Отец нашего героя – единственный, кто уцелел из их потомства, – отказался встречать королеву Викторину, когда она посетила Шотландию. Эван был таким же, как они, хотя и жил в XX веке. Он ни в коей мере не походил на чудаковатого и трогательного якобита из приключенческих романов; он ощущал себя заговорщиком, и дело свое – живым. Долгими зимними вечерами, на арисэгских песках, он курил, размышляя о том, как возьмет приступом Лондон.

Брат Лондон он прибыл один, с сумкой на плече, вооруженный лишь тростью. Лондон ошеломил его – не испугал, а удивил тем, что похож не на рай, и не на ад, а на лимб. Однако увидев в небе собор св. Павла, он растрогался и сказал: «Его построили при Стюартах!» Потом, горько ухмыльнувшись, он спросил, какой памятник воздвигли себе Ганноверы, и, оглядевшись, выбрал

рекламу патентованного лекарства.

Перед витриной редакции он остановился от нечего делать. Названия газеты он не увидел, а может быть – не знал такого слова. Как бы то ни было, сама газета не оскорбила бы невинного жителя гор, если бы он не прочитал ее с начала до конца, чего еще никто не делал.

Украсшением номера была статья о месопотамской мифологии. Макиэн читал ее бесстрастно и узнавал множество ученых фактов с той бездумностью, с какой ребенок задает вопросы жарким летним днем, – с той бездумностью, которая велит спрашивать снова и снова, когда это утомило тебя не меньше, чем взрослых. Улицы кишели людьми, приключений не было. Можно было почитать и про богов Междуречья; и он читал, приблизив длинное лицо к слабо освещенному стеклу. Он узнал, что один из этих богов считался исключительно сильным и что такое представление поражает своим сходством с известным мифом о Ягве. Про Ягве Эван никогда не слышал и, решив, что это какое-то еще местное божество, с ленивым любопытством прочитал о похождениях того, первого, бога; как выяснилось, бог этот, называвшийся Шо или, точнее, Псу, соблазнил деву, зачавшую героя; герой же, чье имя мы опустим, играл немаловажную роль в создании этического кодекса тех древних и далеких стран. Потом шли другие примеры спасителей и героев, родившихся от связи бога и смертной девицы. Потом шла фраза, которую Эван не понял и несколько раз перечитал. Потом он понял ее. Стекло посыпалось на плиты. Эван Макиэн прыгнул в редакцию, размахивая тростью.

– Что случилось? – крикнул мистер Тернбулл. – Как вы смеете бить окна?

– Вставай и защищайся, подлец! – отвечал Макиэн. – Есть тут шпаги?

– Вы с ума сошли? – спросил Тернбулл.

– А вы? – спросил Макиэн. – Неужели вы писали в здравом уме? Защищайтесь, сказано вам!

Огненно-рыжий редактор побледнел от счастья. Он вскочил с мальчишеской легкостью; юность вернулась к нему. И – как нередко бывает, когда к человеку средних лет возвращается юность – он увидел полицейских.

Задав несколько вопросов, служители закона повели обоих фанатиков в полицейский суд. С Макиэном они обращались почтительно, ибо в нем была тайна, а наши полисмены, как многие уроженцы Англии, – и снобы, и поэты. Вопли же Тернбулла не трогали их, ибо они не привыкли слушать доводы, даже если доводы эти согласны с законом.

Привели нарушителей порядка к судье, которого звали Камберленд Вэйн. Он был радушен и немолод, славился легкостью слога и легкими приговорами. Иногда, по долгу службы, он гневно порицал кого-нибудь – скажем, человека, побившего жену, и очень удивлялся, что жена эта сердится на него больше, чем на мужа. Одевался он безупречно, носил небольшие усики и вполне походил на джентльмена, точнее – на джентльмена из пьесы.

Нарушение порядка и порчу чужой собственности он почти и не считал преступлениями, и потому отнесся с юмором к какому-то разбитому стеклу.

– Мистер Макиэн! – сказал он, откинувшись на спинку кресла, – Вы всегда заходите к друзьям через окно? (Смех.)

– Он мне не друг, – ответил Эван с серьезностью глупого ребенка.

– Ах вон как, не друг? – переспросил судья. – Быть может, родственник? (Громкий смех.)

– Он мой враг, – отвечал Эван. – Он враг Богу.

Судья выпрямился и едва удержал пенсне.

– Прошу вас, без... э... выражений! – торопливо сказал он. – Причем тут Бог?

Эван широко открыл светлые глаза.

– Бог... – начал он.

– Прошу вас! – строго сказал судья. – И вам не стыдно говорить о таких вещах на людях... э... в полиции? Вера – частное дело, ей здесь не место.

– Неужели? – спросил житель гор. – Тогда зачем они клялись на Писании?

– Не путайте! – сердито поморщился Вэйн. – Конечно, мы все уважаем присягу... да, именно уважаем. Но говорить в публичном месте о священных и глубоких личных чувствах – это безвкусно! Вот именно, безвкусно. (Слабые аплодисменты.) Я бы сказал, нескромно. Да, так бы я и сказал, хотя и не отличаюсь особым благочестием.

– Это я вижу, – заметил Эван.

– Итак, вернемся к нашему... инциденту, – сказал судья. – Смею спросить вас, почему вы разбились стекло у своего достойного согражданина?

Эван побледнел от одного лишь воспоминания, но отвечал просто и прямо.

– Потому что он оскорбил Божью Матерь.

– Я вам сказал раз и навсегда! – крикнул мистер Кэмберленд Вэйн, стукнув по столу. – Я вам сказал, что не потерплю здесь никаких выражений! Не надейтесь меня растрогать! Верующие люди не говорят о своей вере где попало. (Аплодисменты.) Отвечайте на вопрос, больше мне от вас ничего не надо.

– Я и отвечаю, – сказал Эван и слегка улыбнулся. – Вы спросили, я и ответил. Другой причины у меня не было. Иначе я ответить не могу.

Судья смотрел на него с необычайной для себя строгостью.

– Вы неправильно защищаетесь, мистер Макиэн – сурово промолвил он. – Если бы вы просто выразили сожаление, я счел бы этот инцидент пустяковой вспышкой. Даже теперь, если вы скажете, что сожалеете о...

– Я не сожалею, – прервал его Эван.

– Видимо, вы не в себе, – сказал судья. – Разве можно бить стекла, если кто-то думает иначе, чем вы? Мистер Тернбулл вправе выражать свое мнение.

– А я – свое, – сказал шотландец.

– Кто вы такой? – рассердился Камберленд Вэйн. – Вы что, владеете истиной?

– Да, – сказал Макиэн.

Судья издал презрительный смешок.

– Честное слово, вам нянька нужна, – сказал судья. – Уплатите 10 фунтов.

Эван Макиэн сунул руку в карман и вытащил довольно странный кошелек. Там было 12 тяжелых монет. Он молча отсчитал десять и молча положил две обратно. Потом он вымолвил:

– Разрешите мне сказать слово, ваша милость...

Почти зачарованный его механическими движениями, судья не то кивнул, не то покачал головой.

– Я согласен, – продолжал Макиэн, опуская кошелек в глубины кармана, – что бить стекла не следует. Но это лишь начало, как бы пролог. Где бы и когда бы я ни встретил этого человека, – и он указал на Тернбулла, – через десять минут или через двадцать лет, здесь или в далеком краю, я буду с ним драться. Не бойтесь, я не нападу на него, как трус. Я буду драться, как дрались наши отцы. Оружие выберет он. Но если он откажется, я ослаблю его на весь мир. Скажи он о матери моей или жене то, что сказал он о Матери Божией, вы, англичане, оправдали бы меня, когда бы я его избил. Ваша милость, у меня нет ни матери, ни жены. У меня есть лишь то, чем владеют и бедный, и богатый, и одинокий, и тот, у кого много друзей. Этот страшный мир не страшен мне, ибо в самом сердце его – мой дом. Этот жестокий мир добр ко мне, ибо там, превыше небес – то, что человечней человечности. Если за это нельзя сражаться, то за что можно? За друзей? Потеряв друга, я останусь жив. За свою страну? Потеряв ее, я буду жить дальше. Но если бы эти мерзкие вымыслы оказались правдой, меня бы не было – я бы лопнул, как пузырь. Я не хочу жить в бессмысленном мире. Так почему же мне нельзя сражаться за собственную жизнь?

Судья обрел голос и собрался с мыслями. Самый вызов сильно удивил его, остальные же фразы принесли его туманному уму немалое облегчение, словно из них следовало, что человек этот, хотя и ненормальный, не так уж опасен. И он устало рассмеялся.

– Не говорите вы столько! – сказал он. – Дайте и другим вставить слово. (Смех.) На мой взгляд, ваши доводы – чистейшая чушь. Во избежание дальнейших неприятностей я вынужден, просить вас, чтобы вы помирились с мистером Тернбуллом.

– Ни за что, – сказал Макиэн.

– Простите? – переспросил судья, но тут раздался голос потерпевшего.

– Мне кажется, – сказал редактор «Атеиста», – я и сам могу уладить наше нелепое дело. Этот странный джентльмен говорит, что не нападет на меня. Он хочет поединка. Но для поединка нужны двое, ваша милость. (Смех.) Пожалуйста, пусть сообщает кому угодно, что я не хочу драться с человеком из-за месопотамских параллелей к мифу о Деве Марии. Не беспокойтесь, ваша милость, дальнейших неприятностей не будет.

Камберленд Вэйн с облегчением рассмеялся.

– Как приятно слушать вас! – сказал он. – Хоть отдохнешь... Вы совершенно правы, мистер Тернбулл. Стоит ли принимать это всерьез? Я рад, я очень рад.

Эван вышел из суда шатаясь, как больной. Теперь он знал, что нынешний мир считает его мир чушью. Никакая жестокость не убедила бы его в этом так быстро, как их доброта. Он шел,

невыносимо страдая, когда перед ним встал невысокий рыжий человек с серыми глазами.

– Ну, – сказал редактор «Атеиста», – где же мы будем драться?

Эван застыл на месте я повял, что как-то ответил, только по словам Тернбулла.

– Хочу ли я поединка? – вскричал свободомыслящий редактор. – Что ж, по-вашему, только святые умеют умирать за свою веру? День и ночь я молился... то есть молил... словом, жаждал вашей крови, суеверное вы чучело!

– Но вы сказали... – проговорил Макиэн.

– А вы что сказали? – усмехнулся Тернбулл. – Да нас обоих заперли бы на год! Если хотите драться, причем тут этот осел? Что ж, деритесь, если не трусите!

Макиэн помолчал.

– Клянусь вам, – сказал он, – что никто не встанет между нами. Клянусь Богом, в Которого вы не верите, и Матерью Его, Которую вы оскорбили, семью мечами в Ее сердце и землю моих предков, честью моей собственной матери, судьбой моего народа и чашей крови Господней.

– А я, – сказал атеист, – даю вам честное слово.

### Глава III ЛАВКА ДРЕВНОСТЕЙ

Под золотым куполом вечернего неба самый ничтожный закоулок казался прекрасным. Темную улочку Сент-Мартинс-лейн вымостили золотом; витрина ломбарда сияла так, словно здесь и впрямь парили те милосердие и благочестие, которые померещились сентиментальным французам; книжная лавка самого скучного и пошлого пошиба заиграла ненадолго истинно-парижскими красками. Однако самым прекрасным был крохотный магазин между ломбардом и книгами, который и в прочее время отличался красотой. Витрина его сверкала бронзой, серебром и звездами самоцветов (по-видимому, фальшивых), ибо здесь разместил свои товары торговец древностью, антиквар. Впереди, словно решетка, стояли потемневшие шпаги, за ними еще темнее поблескивали старый дуб и старая сталь, а наверху красовались причудливые предметы с тихоокеанских островов, предназначенные не то для убиения, не то для варки врага.

Но романтичней и пленительнее всего было то, что обе двери стояли открытыми, и сквозь них виднелся садик, обращенный вечерним солнцем в золотой квадрат. Ничего нет прекрасней на свете, чем смотреть сквозь арку дома, словно небеса – нетленная комната, а солнце – сияющая лампа.

Два шотландца, зашедшие к антиквару, выбирали долго, но не торговались. Интересовали их только старинные шпаги. Хозяин разложил перед ними все, что у него было, и они выбирали, пока не нашли двух шпаг совершенно одинаковой длины. Но и после этого они не успокоились – проверяли, остро ли острие, взвешивали шпаги на руке, сгибали их кольцом и смотрели, как они выпрямляются.

– Вот эти ничего, – сказал один из них, невысокий и рыжий. – Заплачу я сразу. А вы, мистер Макиэн, объясните, в чем дело.

Высокий шотландец подошел к прилавку и сказал четко, но сухо, словно выполнял обряд:

– Мы доверяем вам нашу честь, сэр. К несчастью, за нами гонится полиция и мы спешим. Спор ваш очень серьезен, и решить его можно только дуэлью. Если вы позволите нам занять ненадолго ваш садик, мы будем весьма...

– Вы что, напились? – очнулся хозяин лавки. – Дуэль! Да еще у меня в саду! О чем это вы поспорили?

– Мы спорили о вере, – все так же четко отвечал Эван.

Толстенький антиквар развеселился.

– Забавно! – сказал он. – Убить человека ради веры! Я, знаете ли, понимаю под верой человечность, порядочность, уважение к личности...

– Простите, – сказал Тернбулл, – ломбард тоже ваш?

– Э-э... собственно, да, – ответил антиквар.

– А та лавка? – спросил атеист, указывая в сторону не всегда пристойных обложек.

– Моя, – отвечал антиквар. – Ну и что?

– Прекрасно! – закричал Тернбулл. – За человечность я теперь спокоен, она в надежных руках. Как и порядочность. Жаль только, что я собирался говорить с вами о чести. Что ж, драться мы будем, и у вас в саду. Тихо! Скажете хоть слово, пеняйте на себя.



И он коснулся острием шпаги пестрого жилета.

– Мистер Макиэн,– деловито сказал он,– свяжите его и заткните ему рот.

Антиквар слишком перепугался, чтобы кричать, но боролся храбро, пока Макиэн связывал его, затыкал ему рот и клал его на пол.

– Через полчаса он высвободится,– сказал уроженец гор.

– Да,– отвечал уроженец равнины,– но один из нас будет уже мертв.

– Надеюсь,– откликнулся Макиэн.

– Идемте в сад,– сказал Тернбулл, крутя рыжий ус,– Ах ты, какой вечер!

Макиэн молча взял шпагу и пошел в сад. Дуэлянты вонзили в землю клинки, вспыхнувшие белым светом, сняли пиджаки и жилеты, и даже разулись. Пока Эван Макиэн произносил несколько фраз по латыни, Тернбулл демонстративно курил, но сразу отбросил сигарету, когда его противник замолк. Однако Макиэн не шевелился, глядя куда-то вдаль.

– Куда вы смотрите? – спросил Тернбулл.– Вы видите там полицию?

– Я вижу Иерусалим,– отвечал Макиэн.– Я вижу щиты и знамена неверных. Простите. Сейчас начнем.

И он отсалютовал шпагой, а Тернбулл насмешливо или нетерпеливо повторил его движение.

Клинки зазвенели громко, словно колокол; и в то же мгновение оба шотландца поняли, что шпаги – как обнаженные стальные нервы.

Обычно Макиэн казался рассеянным, но это не была апатия тех, кому все безразлично; это была отрешенность человека, которому на всем свете важно лишь одно. Именно потому рассеянность его сменилась такой живой яростью. Противник отбивал удары, но нападать не мог. Эван становился все легче, спокойней и проворнее.

Тернбулл был уже на грани гибели, как вдруг Макиэн остановился. Из благородства, а может от удивления, остановился и он.

– Что это? – хрипло спросил Макиэн.

Из темной лавки слышался странный звук, словно по полу тащили чемодан.

– Он разорвал одну веревку и ползет сюда,– отвечал Тернбулл.– Скорее! Надо кончить, пока он не вынул кляп.

– Да, скорее! – крикнул Макиэн, и клинки скрестились снова; но тут раздался крик:

– Полиция! На помощь!

Эван не остановился бы, если бы не увидел, что редактор глядит куда-то поверх его плеча. Он обернулся; арка была темна, ибо в двери, ведущей на улицу, стояли люди.

– Надо бежать,– сказал Тернбулл,– Делайте, как я.

Он схватил одежду и башмаки, лежавшие на траве, взял в зубы шпагу и перелетел через изгородь. Через три секунды ноги его, прикрытые лишь носками, ощутили камни мостовой. Макиэн прыгнул за ним, тоже в носках, держа в зубах шпагу, в руке – одежду.

Они очутились в пустом переулке, но улица была близко, и по ней двигался сплошной поток кэбов и машин.

Именно в эту минуту один кэб проезжал прямо перед ними. Тернбулл свистнул, как уличный мальчишка; Эван уже слышал голос за стеной.

Кэб свернул в переулок. Однако вид возможных пассажиров охладил профессиональное рвение кэбмена.

– Поговорите с ним,– шепнул Тернбулл, отступая в тень ограды.

– Нам нужно на вокзал Сент-Панкрас,– сказал Макиэн с явственным шотландским акцентом.– Да побыстрей!

– Простите, сэ,р,– проговорил кэбмен.– Можно спросить, что это с вами, сэ,р? Откуда вы взялись?

Голос за стеной произнес тем временем: «Поддержите меня, я взгляну».

– Друг,– сказал Макиэн,– если тебе очень нужно знать, откуда я взялся, так и быть, знай: из Шотландии. Из Северной, заметь. Открой-ка дверцу.

Кэбмен засмеялся. Голос за стеной говорил: «Вот так, вот сюда, мистер Прайс». Из тени ограды вылез одетый Тернбулл (жилет он оставил на мостовой), и решительно полез сзади на верхушку кэба.

Макиэн ни в малой мере не понимал, чего он хочет, но послушание, унаследованное от воинов, подсказало ему, что вмешиваться не надо.

– Дверцу открой,– повторил он с торжественностью пьяного.– На поезд спешим, понятно?

Над оградой показался шлем. Кэбмен его не видел, но подозрения его еще не рассеялись.

– Прошу прощения, сэр...– снова начал он, когда Тернбулл, словно кошка, прыгнул на него сзади и осторожно спустил его на мостовую.

– Дайте мне его шляпу,– звонко сказал он.– Берите мою шпагу, садитесь в кэб.

Сердитое красное лицо показалось над оградой. Кэбмен приподнялся. Тернбулл стегнул лошадь, и кэб помчался по улице.

Он промчался по семи улицам и четырем площадям, и только у Мэйда-вейл возница заглянул внутрь и вежливо позвал:

– Мистер Макиэн!

– Да, мистер Тернбулл,– откликнулся тот.

– Надеюсь,– сказал редактор,– вы понимаете, что мы нарушили закон и за нами гонятся. Я немного изучил ваш характер, но все же спрошу для порядка; остается ли в силе ваш вызов?

– Остается,– сказал Макиэн.– Пока мы едем, я смотрю на улицы, на дома, на храмы. Сперва я удивлялся, почему всюду так пусто. Потом я понял: из-за нас. Мы – самые важные люди во всей стране, может быть – во всей Европе. Нынешняя цивилизация – сон. Мы с вами реальны.

– Я не очень люблю притчи в этом духе,– сказал в отверстие Тернбулл,– но в вашей есть смысл. Мы должны решить этот спор, ибо мы знаем, что оба мы реальны. Мы должны убить друг друга – или обратить. Я думал, что христиане

– ханжи и, честно говоря, терпел их. Я лижу, что вы искренни – и душа моя возмутилась. Вы тоже, смею предположить, думали, что атеисты – просто циники, и терпели их, но меня вы терпеть не можете, как и я – вас. Да, на плохих людей не рассердишься. Но когда хороший человек ошибается, вытерпеть это невозможно. Об этом стоит подумать.

– Только не врежьтесь во что-нибудь,– сказал Эван.

– Подумаю и об этом,– ответил Тернбулл.

Освещенные улицы стрелами пролетали мимо. В Тернбулле, без сомнения, таились до поры неведомые ему таланты. Кэб ушел от погони, когда она еще только-только раскачивалась; а главное, кэбмен выбирал не тот путь, который выбрал бы каждый. Он ехал не пустынными переулками, где каждый экипаж заметен, как шествие, но шумными улицами, где полным-полно и машин, и кэбов. На одной из улиц потише Макиэн улыбнулся. У Олбэни-стрит кэбмен снова заглянул вниз, к седоку.

– Мистер Макиэн,– сказал он, и голос его, как ни странно, немного дрожал,– я хочу предложить вам... да вы, наверное, сами о том же думаете. Пока мы не можем драться, мы, практически, если не товарищи, то хотя бы деловые партнеры. Мне кажется, нам не стоит ссориться. Вежливость друг к другу не только хороша сама по себе, но и полезна в такой ситуации.

– Вы правы,– отвечал Макиэн,– я об этом думал. Все, кто дерется, должны быть учтивы друг к другу, а мы... мы не просто враги, мы и впрямь скорее товарищи...

– Мистер Макиэн,– сказал Тернбулл,– ни слова больше,– и закрыл дверцу. Открыл он ее только на Финиглирод.

– Мистер Макиэн,– спросил он,– не хотите ли закурить? У меня хорошие сигареты.

– Спасибо,– отвечал Макиэн,– вы очень добры. И он закурил в темноте кэба.

## Часть вторая

### Глава IV

### РАЗГОВОР НА РАССВЕТЕ

Казалось бы, наши герои ускользнули от главных сил века сего – и от судьбы, и от лавочника, и от полиции.

Теперь корабль их плыл по безбрежному морю, другими словами – кэб их стал одним из бесчисленных кэбов. Но они забыли немаловажную силу – газетчиков. Они забыли, что в наши дни (быть может, впервые за всю историю) существуют люди, занятые не тем, что какое-то событие нравственно или безнравственно, не тем, что оно прекрасно или уродливо, не тем, что оно полезно или вредно, а просто тем, что оно произошло.

Событие, происшедшее неподалеку от собора св. Павла, само по себе дало этим людям работу;

события же, происшедшие в суде и сразу после суда, вызвали истинный прилив творческих сил. Запестрели заголовки: «Дуализм или дуэль», «Поединок из-за Девы» и многие другие, еще остроумнее. Журналисты почуяли кровь и разошлись повсюду. Когда же один из них, задыхаясь, сообщил о происшествии в садике, сами издатели пришли в экстаз.

Наутро все большие газеты поместили большие статьи. К концу все статьи становились одинаковыми, начинались же они по-разному. Одни взывали поначалу к гражданским чувствам, другие – к разуму, третьи – к истинной вере, четвертые ссылались на особенности кельтов; но все негодовали и все осуждали обоих дуэлянтов. Еще через сутки газеты почти ни о чем другом не писали. Кто-то спрашивал, как парламент может это допустить; кто-то предлагал начать сбор денег в пользу несчастного лавочника; а главное – за дело взялись карикатуристы. Макиэн мгновенно стал их любимым героем, причем изображали его с багровым носом, рыжими усами и в полном шотландском костюме. В том же самом обличье предстал он на сцене мюзик-холла, как раз на третьи сутки, когда подоспели письма от негодующих читателей. Словом, газеты стали очень интересными, и Тернбулл говорил о них с Макиэном на рассвете четвертого дня, в поле, над холмами Хэмстеда.

Темное небо прорезала широкая серая полоса, серебряный меч расщепил ее, и утро стало медленно подниматься над Лондоном. Холм, на котором лежало поле, возвышался над всеми холмами, и наши герои различали, как возникает город во все светлеющем свете.

Наконец на небе появилось ярко-белое солнце, и город стал виден целиком. Он лежал у ног во всей своей чудовищной красе. Параллелограммы кварталов и квадраты площадей складывались в детскую головоломку или в огромный иероглиф, который непременно надо прочесть. Тернбулл, истинный демократ, часто бранил демократию за тупость, суетность, снобизм – и был прав, ибо демократия наша плоха лишь тем, что не терпит равенства. Он много лет обвинял обычных людей в глупости и холуйстве; и только сейчас, со склонов Хэмстеда, увидел, что они – боги. Творение их было тем божественней, чем больше ты сомневался в его разумности. Поистине, нужна не только глупая практичность, чтобы совершить, такую дикую ошибку, как Лондон. К чему же это идет? Кем станут, какими будут когда-нибудь немислимые созданыя – рабочий, толкающийся в трамвае, или клерк, чинно сидящий в омнибусе? Подумав об этом, Тернбулл вздрогнул – быть может, от утреннего холода.

Смотрел на город и Макиэн, но лицо его и взгляд свидетельствовали о том, что на самом деле глаза его слепы, точнее – обращены в его душу. Когда Тернбулл заговорил с ним о Лондоне, жизнь вернулась в них, словно хозяин дома вышел на чей-то зов.

– Да,– сказал Макиэн,– это очень большой город. Когда я приехал, я даже испугался. Там, у нас, много больших вещей – горы уходят в бесконечность Божью, море – к краю света. Но у них нет четкости, нет формы, и не человек их создал. Когда же ты видишь такие большие дома, или улицы, или площади, кажется, что бес дал тебе лупу, или что перед тобою – миска, высокая, как дом, или мышеловка для слона.

– Словно Бробдингнег,– сказал Тернбулл.

– А где это? – спросил Макиэн.

Тернбулл печально ответил: «В книге», и молчание разделило их.

Все, что наши герои захватили с собой, лежало рядом с ними. Шпаги валялись на траве, как тросточки; плитки шоколада, бутылки вина, консервы напоминали о мирном пикнике; а в довершение беспорядка повсюду виднелись изделия глашатаев нашего безвластия – газеты. Тогда-то редактор «Атеиста» и взял одну из них.

– Про нас много пишут,– сказал он.– Вам не помешает, если я закурю?

– Чем же это может помешать мне? – спросил Макиэн.

С интересом взглянув на человека, совершенно незнакомого с условностями, Тернбулл закурил и выпустил клубы дыма.

– Да,– сказал он наконец,– мы с вами – хорошая тема. Я сам журналист, мне ли не знать! Впервые за несколько поколений британцев волнуют английские, а не заморские злодеи.

– Мы не злодеи,– сказал Макиэн.

Тернбулл засмеялся.

– Если бы я не подозревал, что вы гений,– сказал он,– я бы решил, что вы дурак. Вы совершенно не понимаете обычной речи. Ну что ж, давайте собирать пожитки, пора нам идти.

Он вскочил и принялся рассовывать припасы по карманам. Пытаясь засунуть в полный карман еще и банку консервов, он заметил: .

– Так вот, если судить по газетам, мы с вами – самые знаменитые люди в Англии.

– Да,– отвечал Макиэн,– я прочитал то, что про нас пишут. Но они не поняли главного.– И он вонзил шпагу в землю, как человек, сажающий дерево.

Тернбулл привязал к пуговице последнюю пачку печенья и заговорил, словно нырнул в море:

– Мистер Макиэн, послушайте меня. Нет, слушайте меня не только потому, что я тут бывал, а вы нет – вы можете посмотреть карту,– а потому, что я знаю здешний народ. Каждое из этих окон – око, следящее за нами. Каждая труба – палец, указующий на нас. Шесть месяцев, не меньше, будут заниматься только нами, как в свое время занимались Дрейфусом. Не думайте по простодушию, что нам стоит перевалить за эти холмы, как переваливает за горы беглец на вашей земле. Узнать нас могут повсюду, словно мы – Наполеоны, бежавшие с Эльбы. Нам придется спать под открытым небом, как в Африке. Нам придется обходить даже маленькие селения. А главное – мы не сможем заняться тем, что вы назвали главным, пока не убедимся, что мы совершенно одни. Поверьте, если нас поймут, мы до самой смерти не выйдем из сумасшедшего дома. Словом, слушайте меня, иначе мы не отойдем от Лондона и на десять миль. Под моим началом мы пройдем все шестьдесят. У меня – галеты, консервы и сгущенное молоко. Вы берете шоколад и бутылку.

– Хорошо,– отвечал Макиэн послушно, как солдат.

– Ну и прекрасно. Пошли! Вон туда, за третий куст – и вниз, в долину.

Тернбулл быстро пошел по указанному пути; но вскоре остановился на извилистой тропинке, почуввав, что Макиэн за ним не идет.

– Что с вами? – спросил он.– Вам плохо?

– Да,– ответил Макиэн.

– Хлебните немного,– сказал Тернбулл.– Бутылка у вас.

– Я не болен,– произнес Макиэн странным и скучным голосом.– Точнее, у меня болит душа. Меня мучает соблазн.

– Что вы такое говорите? – спросил Тернбулл.

– Сразимся сейчас! – неожиданно и звонко крикнул Макиэн.– Здесь, на этой блаженной траве!

– Да что с вами, дурак вы... – начал Тернбулл, но Макиэн кричал, ничего не слыша:

– Вот он, час воли Божьей! Скорее, будет поздно! Скорее, сказано вам.

Он вырвал шпагу из ножен с невиданной яростью, и солнце сверкнуло на клинке.

– Дурак вы, честное слово,– закончил Тернбулл.– Спрячьте шпагу. На первый шум выйдут люди, хотя бы из того дома

– Один из нас уже умрет,– не сдался Макиэн.– Ибо пробил час Божьей воли.

– Меня мало трогает Его воля,– отвечал редактор «Атеиста».– Скажите лучше, чего хотите вы.

– Дело в том... – начал Макиэн и замолчал.

– Ну, ну! – подбодрил его Тернбулл.

– Дело в том,– сказал Макиэн,– что я могу полюбить вас.

Лицо Тернбулла вспыхнуло на мгновение, но он насмешливо сказал:

– Любовь ваша выражается несколько странно.

– Не говорите вы в этом стиле! – гневно закричал Макиэн.– Не насилуйте себя! Вы знаете, что я чувствую. Вы сами чувствуете так же.

Тернбулл снова вспыхнул и снова сказал:

– Мы, шотландцы с равнины, думаем медленней, чем вы, уроженцы гор. Дорогой мой мистер Макиэн, о чем вы говорите?

– Вы это знаете,– отвечал Макиэн.– Сражайтесь, или я...

Тернбулл глядел на него спокойно и серьезно.

– ...или я не смогу сражаться с вами,– неожиданно сказал Макиэн.

– Можно мне сначала задать вам вопрос? – спросил Тернбулл.

Макиэн кивнул.

– Что станет,– спросил Тернбулл,– если мы не будем драться?

– Я буду знать,– отвечал Макиэн,– что слабость моя помешала справедливости.

– Слабость, справедливость... – повторил Тернбулл.– Но это же просто слова.

– Ах, номинализм... – сказал Макиэн и устало махнул рукой.– Мы разобрались в нем семь столетий тому назад,

– Разберемся же и сейчас,– сказал Тернбулл.– Вы действительно считаете, что любить меня грешно? – И он неловко улыбнулся.

– Нет,– медленно отвечал Макиэн,– я не это хотел сказать. Быть может, в том, что вы исповедуете, не все от лукавого. Быть может, вам явлены неведомые мне истины Божьи. Но мне надо сделать дело, а добрые чувства к вам этому мешают.

– Мне кажется, вы сами чувствуете,– мягко сказал атеист,– что от Бога, а что – нет. Почему же вы верите догме, а не себе?

Макиэн потерял терпение, как теряет его человек, когда ему приходится объяснять каждое свое слово.

– Церковь – не клуб! – закричал он. – Если из клуба все уйдут, его просто не будет. Но Церковь есть, даже когда мы не все в ней понимаем. Она останется, даже если в ней не будет ни кардиналов, ни папы, ибо они принадлежат ей, а не она – им; Если все христиане внезапно умрут, она останется у Бога. Неужели вам не ясно, что я больше верю Церкви, чем себе? Нет, что я больше верю в Церковь, чем в себя самого? Да что мне до чувств, когда их перевернет приступ печени или бутылка бренди? Я больше верю в...

– Пойдите,– перебил его Тернбулл,– вы говорите «я верю». Почему вы доверяете своей вере и не доверяете своей... скажем, любви?

– Я могу доверять тому, что во мне от Бога,– серьезно отвечал Макиэн. – Но во мне есть и низшее, животное начало, ему доверять нельзя.

– Значит, ваши чувства ко мне – низкие и животные? – спросил Тернбулл.

Макиэн впервые за эту беседу посмотрел на него не гневно, а растерянно.

– Что бы ни свело нас,– сказал он,– лжи между нами быть не может. Нет, мои чувства к вам не низки. Я ненавижу вас потому, что вы ненавидите Бога. Я могу полюбить вас... потому что вы хороший человек.

– Ну что ж,– сказал Тернбулл (лицо его не выдало никаких чувств),– что ж, будем драться.

– Да,– отвечал Макиэн.

И клинки их скрестились, и на первый же звук стали из ближнего дома вышел человек. Тернбулл опустил шпагу. Макиэн удивленно оглянулся. Почти рядом с ним стоял крупный, холеный мужчина в светлых одеждах и широкополой шляпе.

## Глава V МИРОТВОРЕЦ

Когда дуэлянты увидели, что они не одни, оба сделали очень короткое и одинаковое движение. Каждый из них заметил это и за собою, и за другим, и понял, что это значит. Они выпрямились, словно и не думали драться, но не сердито, а скорее с каким-то облегчением. Что-то – не то вне их, не то внутри – неуклонно размывало камень клятвы. Они вспоминали зарю своей вражды, как вспоминают зарю любви несчастные супруги.

Сердца их становились все мягче. Когда шпаги скрестились там, в лондонском садике, и Тернбулл, и Макиэн готовы были убить того, кто им помешает. Они были готовы убить его и убить друг друга. Сейчас им помешали, и они ощутили облегчение. Что-то росло в их душах и казалось им особенно немилосердным, ибо могло обернуться милосердием. Каждый из них думал – не подвластна ли дружба року, как подвластна ему любовь?

– Конечно, вы простите меня,– и бодро и укоризненно сказал человек в панаме,– но я должен с вами поговорить.

Голос его был слишком слащав, чтобы называться вежливым, и никак не вязался с довольно дикой ситуацией,– увидев, что люди дерутся на шпагах, любой удивился бы.

Не вязался он (то есть голос) и с внешностью незнакомца. Все в этом человеке дышало здоровьем, словно в хорошем звере, борода сверкала, сверкали и глаза. Лишь со второго взгляда можно было заметить, что борода слишком кудрява, а нос торчит вперед так, словно все время принохивается; и только с сотого – что в глазах ярко светится не столько ум, сколько глупость. Незнакомец казался еще шире из-за своих светлых и широких одежд, приличествующих тропикам. Однако с того же сотого взгляда можно было заметить, что и в тропиках так не одеваются, ибо одежды эти были сотканы и сшиты по особым медицинским предписаниям, нарушение которых, по-видимому, грозило неминуемой смертью. Широкополая шляпа тоже отвечала требованиям медицины. Голос же, как мы говорили, был слишком слащав для такого здорового существа.

– Насколько я понимаю,– сказал незнакомец,– вы хотите решить некий спор. Несомненно, мы уладим его без драки. Надеюсь, вы на меня не в обиде?

Приняв молчание за знак стыда, он бодро продолжал:

– Я читал про вас в газетах. Да, молодость – пора романтическая!.. Знаете, что я всегда говорю молодым?

– Поскольку мне перевалило за сорок,– мрачно сказал Тернбулл,– я слишком рано явился в мир, чтобы это узнать.

– Бесподобно! – обрадовался незнакомец. – Как говорится, шотландский юмор. Сухой шотландский юмор! Итак, если я не ошибаюсь, вы хотите решить спор поединком. А знаете ли вы, что поединки устарели?

Не дождавшись ответа, он снова заговорил:

– Итак, если верить журналистам, вы хотите сразиться из-за чего-то католического. Знаете, что я говорю католикам?

– Нет,– сказал Тернбулл. – А они знают?

Забыв о своих спорах с римско-католической Церковью, незнакомец благодушно рассмеялся, и продолжал так:

– А знаете ли вы, что дуэль – не шутка? Если мы обратимся к нашей высшей природе... скажем, к духовному началу... Надо заметить, что у каждого из нас есть и низшее начало, и высшее. Итак, отбросим романтические бредни – честь и все такое прочее,– и нам станет ясно, что кровопролитие – страшный грех.

– Нет,– впервые за все это время сказал Макиэн.

– Ну, ну, ну! – сказал миротворен.

– Убийство – грех, – сказал неумолимый шотландец. – А греха кровопролития нет..

– Не будем спорить о словах,– сказал незнакомец.

– Почему? – спросил Макиэн. – О чем же тогда спорить? На что нам даны слова, если спорить о них нельзя? Из-за чего мы предпочитаем одно слово другому? Если поэт назовет свою даму не ангелом, а обезьяной, может она придаться к слову? Да чем вы и спорить станете, если не словами? Движениями ушей? Церковь всегда боролась из-за слов, ибо только из-за них и стоит бороться. Я сказал, что убийство – грех, а кровопролитие – не грех, и разница между этими словами не меньше, чем между «да» и «нет»,– куда там, она больше, ведь «да» и «нет» одной породы. Убийство – понятие духовное, кровопролитие – материально. Хирург, например, проливает чужую кровь.

– Ах, вы казуист? – покачал головой незнакомец. – Знаете, что я говорю казуистам?

Макиэн махнул рукой, Тернбулл засмеялся. Не обижаясь на них, миротворец оживленно продолжал:

– Итак, вернемся к сути дела. Я не признаю насилия и, как могу, пытаюсь предотвратить нелепейшее насилие, которое задумали вы. Однако и полиция – насилие, так что я ее не вызову. Это противно моим принципам. Толстой доказал, что насилие лишь порождает насилие, тогда как любовь... она порождает любовь. Мои принципы вам известны. Я действую только любовью.

Слово это он произносил с неопишуемой многозначительностью.

– Да,– сказал Тернбулл,– нам ясны ваши принципы. Ясны они вам, Макиэн? Полицию никто не позовет.

И Макиэн, вслед за ним, вырвал из земли свою шпагу.

– Я просто обязан предотвратить это преступление! – крикнул, багровея, человек с блестящими глазами,– Оно противно самой любви. Как же это вы, христианин...

Бледный Макиэн прямо посмотрел на него.

– Сэр, вы говорите о любви, – сказал он,– хотя вы холоднее камня. Предположим, однако, что вы когда-нибудь любили кошку, собаку или ребенка. Когда вы сами были ребенком, вы любили свою мать. Что ж, вы можете говорить о любви. Но прошу вас, не говорите о христианстве! Оно для вас – непостижимая тайна. Люди умирали за него, люди из-за него убивали. Люди творили зло ради него – но вам не понять даже их зла. Вас бы затошнило, если бы вы хоть раз о нем подумали. Я не стану вам его объяснять. Возненавидьте его, ради Бога, как ненавидит Тернбулл! Христианство – чудовище и, повторяю, люди за него умирали. Если вы простоите тут еще минут десять, вы сможете это увидеть.

Но увидеть это было трудно, ибо Тернбулл что-то поправлял в своей рукояти, пока незнакомец не произнес:

- А что, если я позвоню в полицию?
- Вы отвергнете свою священную догму, – ответил Макиэн.
- Догму! – воскликнул незнакомец. – Мы – не догматики.
- Затягивая что-то, Тернбулл крикнул, налившись краской:
- Да уходите вы, не мешайте!
- Нет, – покачал головой мыслитель. – Я должен все это обдумать. Мне кажется, в столь исключительных случаях... – И он, неожиданно для них, медленно направился к дому.
- Ну, – спросил Макиэн, – верите теперь в молитву? Я молился об ангеле.
- Простите, не понял, – отвечал Тернбулл.
- Час назад, – объяснил Макиэн, – я ощутил, что бес размягчает мое сердце, и попросил Бога, чтобы Он послал мне на помощь ангела. И пожалуйста...
- Я не думал, что они такие противные, – сказал Тернбулл.
- Бесы знают Писание, – отвечал мистик. – Почему бы ангелу не показать нам бездну неправды, когда мы стояли на ее краю? Если бы он не остановил нас, я бы сам мог остановиться.
- Да, я тоже, – сказал Тернбулл.
- Но он пришел, – продолжал Макиэн, – и душа моя сказала: «Не борись – и ты станешь таким. Откажись от ответов и догм – и вот кем ты будешь. Ты решишь, что бить человека нельзя не потому, что это его унижает, а потому, что ему больно. Ты решишь, что нельзя убивать потому, что это грубо, а не потому, что несправедливо». Час тому назад я почти любил вас, оскорбившего Божью Матерь. Но теперь бойтесь меня. Я слышал, как он говорил «любовь», и понял, что он имеет в виду. Защищайтесь!
- Шпаги скрестились и почти сразу застыли в воздухе.
- Что там такое? – спросил Макиэн.
- Он обдумал все это, – отвечал Тернбулл. – Полиция уже близко.

## Глава VI ЕЩЕ ОДИН МЫСЛИТЕЛЬ

Между зелеными изгородями Хертфордшира, как по туннелю, бежали два шотландца. Двигались они не слишком быстро, а размеренно, словно маятник. Прилив заката захлестнул уступы холмов, окошки в селеньях вспыхнули алым светом, но дорога вилась по долине, и ее покрывала тень. Бежавшим по ней казалось, как часто бывает в этой местности, что они движутся по извилинам лабиринта.

Хотя бег их не был быстрым, они устали, лица у них вспотели, глаза расширились. Вид их никак не вязался с мирным пейзажем, словно это – два беглых безумца. Быть может, так оно и было.

Наконец один из них произнес

– Мы бежим быстрее полиции. Почему у вас так раскармливают служителей порядка?

– Не знаю, – отвечал Тернбулл, – но из-за нас они похудеют. Когда они нас поймают, они будут...

– Они нас не поймают, – перебил его Макиэн. – Если только... Послушайте!

Тернбулл прислушался и услышал далекий цокот копыт.

– Жаль, что мы отпустили кэб, – сказал он. – Конная полиция, подумать только! Словно мы – опасные, мятежники.

– Кто же мы еще? – спокойно спросил Макиэн и тем же тоном спросил: – Что будем делать?

– Надо бы где-нибудь спрятаться, пока они проскачут мимо, – сказал Тернбулл. – У полиции много недостатков, одно хорошо – она плохо работает. Скорей, вот сюда!

Он кинулся вверх по склону, прямо в алое небо, и проломил с разбегу черную изгородь. Голова его приплась выше нее, и рыжие волосы вспыхнули ослепительным пламенем, а сердце бежавшего за ним преисполнилось не то пламенной любовью, не то пламенной ненавистью.

Он ощутил, что все это значимо, словно эпос; что люди взлетают сейчас куда-то ввысь, где царят любовь, честь и ярость. Когда он сам добежал до верху, ему казалось, что его несут крылья.

Легенды, которые он слышал в детстве или читал в юности, припомнились ему во всей их царственной красе. Он подумал о тех, кто любил друг друга – и вступал в поединок; о тех, кто, решив поединком спор, становились близкими друзьями. Теперь он был одним из них, и алое море

заката казалось ему священной кровью, которой истекает самое сердце мира.

Тернбулл не вспоминал ни о каких легендах. Но даже с ним что-то случилось, пусть на мгновение, ибо голос его стал слишком спокоен.

– Видите там что-то вроде беседки? – спросил он. – Бежим туда!

Выпутавшись из переплетения ветвей, он побежал по темному треугольнику огорода к какому-то легкому строению.

– С дороги ее не видно, – сказал он, входя в серый деревянный домик, – и ночевать тут можно.

– Я должен сказать вам... – начал Макиэн, но Тернбулл перебил его: «Тихо!» Цокот копыт стал громче. По долине пронеслась конная полиция.

– Я должен сказать вам, – повторил Макиэн, – что вы истинный вождь, и большая честь для меня – идти за вами.

Тернбулл не отвечал и произнес нескоро: «Надо нам поесть перед сном».

Когда последние звуки погони замерли вдали, Тернбулл уже разложил припасы. Он поставил на подоконник рыбные консервы, вино – на пол; но тут кто-то трижды постучал в тонкую дверцу.

– Что за черт? – сказал Тернбулл, открывавший консервы.

– Быть может, это Бог, – сказал Макиэн.

Звук был нелепый, как будто в дверцу не стучались, а хотели проделать в ней дыру. Тернбулл пошел открывать, схватив для чего-то шпагу, и сразу увидел бамбуковую трость. Он ударил по ней, конец ее сломался, пришелец отскочил назад.

На золотом и алом щите неба силуэт его был нелепым и черным, как геральдическое чудище. Длинные волосы казались рогами, концы галстука-бабочки – нелепыми крыльями.

– Вы ошиблись, Макиэн, – сказал Тернбулл, – больше похоже на черта.

– Кто вы такие? – вскрикнул незнакомец резким и тонким голосом.

– И правда, – сказал Тернбулл, оглядываясь на Макиэна, – кто же мы такие?

– Выходите! – крикнул незнакомец.

– Пожалуйста, – ответил Тернбулл и вышел, держа в руках шпагу; Макиэн последовал за ним.

Незнакомец оказался невысоким, даже маленьким, но не таким причудливым, как на фоне заката. Рыжие волосы падали ему на плечи, словно у какой-нибудь девы со средневековой картины (или с картины прерафаэлитов), но лицо было грубым, как у обезьяны.

– Что вы здесь делаете? – тонким и резким голосом спросил он.

– А вы что здесь делаете? – с обычной для него детской серьезностью спросил Макиэн.

– Это мой сад! – крикнул незнакомец.

– О! – простодушно сказал Макиэн. – Тогда простите нас.

– Лучше расскажем все нашему хозяину, – сказал Тернбулл. Понимаете, мы собирались закусить, но вообще мы собираемся драться.

При этом слове человек необычайно оживился.

– Как? – закричал он. – Вы те самые люди, которые затеяли дуэль? Это вы и есть? Нет, это вы?

– Да, это мы, – отвечал Макиэн.

– Идемте ко мне! – воскликнул хозяин. – Ужин у меня получше, чем вот это... А вино... Да идемте же, я вас и ждал!

Даже невозмутимый Тернбулл немного удивился.

– Простите, сэр... – начал он.

– Борьба – моя страсть! – перебил его тщедушный хозяин. – Ах, сколько я гулял по этим мерзким лугам, ожидая борьбы, убийства и крови! Только ради них и стоит жить на свете, ха-ха!

И он так сильно ударил по дереву тростью, что на коре осталась полоса.

– Простите, – нерешительно спросил Макиэн, – простите, вы так секли и дверь?

– Да, – резко отвечал хозяин; Тернбулл хмыкнул.

– Идемте же! – снова закричал человек. – Нет, боги все же есть! Они услышали мои молитвы! Я угощу вас по-рыцарски, а потом увижу, как один из вас умрет!

Он понесся сквозь сумерки по извилистой дорожке, и все трое скоро очутились перед маленьким красивым коттеджем. Коттедж этот ничем не отличался бы от соседних, если бы перед ним, среди левкоев и бархатцев, не стоял божок с тихоокеанских островов. Сочетание безглазого идола с такими невинными цветами казалось кошунственным.

Однако внутри коттедж никак не походил на соседние. Едва ступив в него, наши герои ощутили себя в сказке из «Тысячи и одной ночи». Дверь, захлопнувшаяся за ними, отрезала их от



Англии и от всей Европы. Жестокие барельефы Ассирии и жестокие ятаганы турков украшали стены, словно цивилизации эти не разделяли тысячи лет. Как в сказке из «Тысячи и одной ночи», казалось, что комната вставлена в комнату; и самая последняя из этих комнат была подобна самоцвету. Человечек упал на багряные и золотые подушки. Негр в белых одеждах молча приблизился к нему.

– Селим, – сказал хозяин, – эти люди будут ночевать в моем доме. Пришли сюда лучшего вина и лучших яств. А завтра, Селим, один из этих людей умрет на моих глазах.

Негр поклонился и исчез.

Наутро Эван Макиэн вышел в сад, залитый серебристым светом; лицо его было серьезней, чем прежде, и смотрел он вниз; Тернбулл еще доедал завтрак, что-то напевая, у открытого окна. Через минуту-другую он легко поднялся и тоже вышел, держа под мышкой шпагу и дожевывая хлеб.

Обоим показалось, что хозяина еще нет, и оба удивились, обнаружив его в саду. Карлик стоял на коленях, замерев перед божеством, как святой перед Мадонной. Когда Тернбулл нечаянно наступил на сучок, он быстро вскочил.

– Да, именно тут! – воскликнул он, потирая руки. – Не бойтесь, он нас видит.

Макиэн обратился к божку синие сонные глаза, и брови его сдвинулись.

– Знаете, – продолжал человечек, – он даже лучше нас видит спиной. Я часто думаю, что там его лицо. Да, со спины он лучше. Со спины он безжалостнее, как вы считаете?

– А что это такое? – не без брезгливости спросил Тернбулл.

– Это Сила, – отвечал человечек с длинными волосами.

– О! – резко откликнулся Тернбулл.

– Да, друзья мои, – радостно сообщил хозяин, – Там, на островах, перед этим камнем приносили в жертву людей. Мне не разрешат, куда там... разве что кошку или кролика, это бывает.

Макиэн дернулся и застыл на месте.

– А сейчас, – голос у хозяина стал звонче, – сейчас он дождетя своего! Перед ним прольется человеческая кровь. – И он укусил себя за палец от избытка чувств. Но дуэлянты стояли, как статуи.

– Быть может, я слишком восторженно выражаюсь, – сказал хозяин. – Да, у меня бывают экстазы, вам их не понять... но вам повезло. Вы нашли единственного человека, который любит не ту или эту борьбу, а борьбу вообще. Меня зовут Уимпи, Морис Уимпи. Я преподавал в Оксфорде. Пришлось уйти, что подделаешь, предрассудки!.. Никто не понял моего преклонения перед великими отравителями Ренессанса. За обедом – туда-сюда, терпят, а в лекциях – нельзя, видите ли... Словом, только у меня вы сможете совершить то, что задумали. Судить ваш поединок будет то, что движет солнце и светила, – само насилие. *Vae Victis!* Горе, горе, горе побежденным! Что же вы стоите? Сражайтесь! Я жду.

Тогда Макиэн сказал:

– Тернбулл, дайте мне вашу шпагу.

Тернбулл дал, удивленно глядя на него. Макиэн переложил свою шпагу в левую руку и швырнул чужую к ногам мистера Уимпи.

– Сражайтесь! – закричал он. – Я жду!

Карлик обернулся к Тернбуллу, ища защиты.

– Прошу вас, сэр, – проговорил он. – Ваш противник принял меня...

– Поганый трус! – заорал Тернбулл. – Сражайтесь, если любите драку! Сражайтесь, если верите в силу! Слава победителю? Что ж, победите! Горе побежденному? Что ж, если он победит вас, примите вашу участь. Сражайтесь, мерзкая тварь, – или бегите!

Уимпи побежал, а шотландцы погнались за ним.

– Лови его! – кричали они. – Гони его! Ату!

Нырять, словно кошка или кролик, меж высоких цветов, карлик несся вперед. Тернбулл несся за ним, Макиэн задержался. Пробегая мимо божка, он вскочил на его подножье, толкнул его изо всех сил, и тот покотился в густую зелень.

Когда уроженец гор снова пустился в погоню, бывший оксфордский лектор перескочил через изгородь и бежал по долине. Шотландцы орали на бегу и размахивали шпагами. Они пересекли вслед за ним три луга, рощу и дорогу и оказались у пруда. Мыслитель остановиться не мог; он с плеском упал в воду. Потом поднялся – вода оказалась ему по колено – и медленно побрел к другому берегу. Тернбулл сидел на траве и смеялся. Лицо Макиэна странно подергивалось; с уст его срывались непонятные звуки. Очень трудно смеяться в первый раз.

## Глава VII ДЕРЕВНЯ

Примерно в половине второго, под ярко-синим небом, Тернбулл поднялся из высоких папоротников и трав, и смех его сменился вздохом,

– Есть хочется, – сказал он. – А вам?

– Я об этом не думал, – отвечал Макиэн. – Что же нам делать?

– Там подальше, за прудом, видна деревня, – сказал Тернбулл. – Вон, смотрите, беленькие домики и угол какой-то церкви. Как это мило на вид... Нет, не найду слова... трогательно, что ли. Только не думайте, что я верю в сельскую идиллию и невинных пастушков. Крестьяне пьют и уподобляются скотам – но они хотя бы не болтают, уподобляясь бесам. Они убивают зверей в диком лесу и свиней на заднем дворе, но они не приносят кровавых жертв какому-то богу силы. Они никогда... – Неожиданно он закончил и плюнул на землю.

– Простите, – сказал он, – это ритуал. Очень уж привкус противный...

– У чего? – спросил Макиэн.

– Не знаю точно, – отвечал Тернбулл. – То ли у тихоокеанских божков, то ли у оксфордского колледжа.

Оба помолчали, и Макиэн тоже поднялся. Глаза у него были сонные.

– Я знаю, что вы имеете в виду, – но мне казалось, что у вас это принято.

– Что именно? – спросил редактор.

– Ну, «делай, что хочешь», и «горе слабым», и «сильная личность» – все, что проповедовал этот таракан.

Серо-голубые глаза Тернбулла стали еще больше: он удивился.

– Неужели вы правда считали, Макиэн, – спросил он, – что мы, поборники свободомыслия, исповедуем эту грязную, безнравственную веру? Неужели вы думали, неужели вы все это время считали, что я – безмозглый поклонник природы?

– Да, считал, – просто и добродушно ответил Макиэн. – Но я очень плохо разбираюсь в вашей вере... или неверии.

Тернбулл резко обернулся и указал на далекие домики деревни.

– Идемте! – крикнул он. – Идемте в старый, добрый кабак. Без пива здесь не разберешься.

– Я не совсем вас понимаю, – сказал Макиэн.

– Скоро поймете, – отвечал Тернбулл. – Выпьете пива, и поймете. Прежде, чем мы это обговорим, дальше нам идти нельзя. Меня осенила простая, чудовищная мысль: да, стальные шпаги решат наш спор, но только оловянные кружки помогут понять, о чем же мы спорим.

– Никогда об этом не думал, – отвечал Макиэн. – Что ж, пойдём!

И они пошли вниз по крутой дороге, к деревне.

Деревню эту – неровный прямоугольник – прорезали две линии, которые с известным приближением можно было назвать улицами. Одна шла повыше, другая пониже, ибо весь прямоугольник, так сказать, лежал на склоне холма. На верхней улице находились кабак побольше, мясная лавка, кабак поменьше, лавка бакалейная и совсем маленький кабак; на нижней – почта, усадьба за высокой оградой, два домика и кабак, почти невидимый глазу. Где жили те, кто посещал эти кабаки, оставалось – как и во многих наших деревнях – непроницаемой тайной. Церковь с высокой серой колокольней стояла немного в стороне.

Но никакой собор не сравнился бы славою с самым большим кабаком, называвшимся «Герб Валенкортов». Знатный род, давший ему имя, давно угас, и землями его владел человек, который изобрел безвредную надевалку для ботинок, но чувствительные англичане относились к своему кабаку с гордой почтительностью и пили там торжественно, словно в замке, как и следует пить пиво. Когда вошли два чужака, на них, конечно, все уставились – не с любопытством, тем более не с наглостью, а с жадной научной любознательностью. Чужаки эти – один высокий и черный, другой невысокий и рыжий – спросили по кружке эля.

– Макиэн, – сказал Тернбулл, когда эль принесли, – дурак, который хотел, чтобы мы стали друзьями, подбавил нам бранного пыла. Вполне естественно, что другой дурак, толкавший нас к брани, сделает нас друзьями. Ваше здоровье!

Сгущались сумерки; посетители уходили по двое, по трое, прощаясь с самым стойким пьяницей, когда Макиэн и Тернбулл дошли до сути своего спора. Лицо Макиэна, как нередко с ним

бывало, туманилось печальным удивлением.

– Значит, в природу вы не верите, – говорил он.

– Я не верю в нее, как не верю, скажем, в Одина, – говорил Тернбулл. – Природа – миф. Дело не в том, что я не собираюсь ей следовать. Дело в том, что я сомневаюсь в ее существовании.

Макиэн еще удивленнее и печальнее повторил последнюю фразу и поставил кружку на стол.

– Да, – пояснил Тернбулл, – в действительности никакой «природы» нет. На свете нет ничего «естественного». Мы не знаем, что было бы, если бы ничто ни во что не вмешивалось. Травинка пронзает и пожирает почву – то есть вмешивается в природу. Бык ест траву; он тоже вмешивается. Так почему же человек не вправе властвовать над ними всеми? Он делает то же самое, но на уровень выше.

– А почему же, – сонно спросил Макиэн, – не счесть, что сверхъестественные силы – еще на уровень выше?

Тернбулл сердито выглянул из-за пивной кружки.

– Это другое дело, – сказал он. – Сверхъестественных сил просто нет.

– Конечно, – кивнул Макиэн, – если нет естественных, не может быть и сверхъестественных.

Тернбулл почему-то покраснел и быстро ответил:

– Вероятно, это умно. Однако всем известна разница между тем, что бывает, и тем, чего не бывает. То, что нарушает законы природы...

– Которой нет, – вставил Макиэн.

Тернбулл стукнул кулаком по столу.

– О, Господи! – крикнул он.

– Которого нет, – пробормотал Макиэн.

– О, Господи милостивый! – не сдался Тернбулл. – Неужели вы не видите разницы между обычным событием и так называемым чудом? Если я взлечу под крышу...

– Вы ударитесь, – докончил Макиэн. – Такие материи не годится обсуждать под крышей. Пойдем отсюда.

И он распахнул дверь в синюю бездну сумерек. На улице было уже довольно холодно.

– Тернбулл, – начал Макиэн, – вы сказали столько правды и столько неправды, что я должен вам многое объяснить. Пока что мы называем одними именами совершенно разные вещи.

Он помолчал секунду-другую и начал снова:

– Только что я дважды поймал вас на противоречии. С точки зрения логики я был прав; но я знал, что не прав. Да, разница между естественным и сверхъестественным есть. Предположим, что вы сейчас улетите в синее небо. Тогда я подумаю, что вас унес Сам Бог... или дьявол. Но я говорил совсем не об этом. Попробую объяснить.

Он снова помолчал немного.

– Я родился и вырос в целостном мире. Сверхъестественное не было там естественным, но было разумным. Нет, оно было разумней естественного, ибо исходило прямо от Бога, Который разумней твари... Меня учили, что одни вещи, – естественны, а другие – божественны. Но есть одна сложность, Тернбулл... Попробуйте меня понять, если я скажу вам, что в этом, моем мире, божественны и вы.

– Кто – я? – спросил Тернбулл. – Почему это?

– Здесь-то вся и сложность, – с трудом продолжал Макиэн. – Меня учили, что есть разница между травой и свободной человеческой волей. Ваша воля – не часть природы. Она сверхъестественна.

– Какая чушь! – сказал Тернбулл.

– Если это чушь, – терпеливо спросил Макиэн, – почему вы и ваши единомышленники отрицаете свободу воли?

Тернбулл помолчал секунду, что-то начал говорить, но Макиэн продолжал, печально глядя на него.

– Поймите, я мыслю так: вот Божий мир, в который меня учили верить. Я могу представить, что вы вообще не верите в него, но как можно верить в одно и не верить в другое? Для меня все было едино. Бог царствовал над миром, потому что Он – наш Господь. Человек тоже царствовал, потому что он – человек. Нельзя, невозможно доказать, что Бог лучше или выше человека. Нельзя доказать и того, что человек чем-то выше лошади.

– Мы с вами говорим как бы скорописью, – наконец перебил его Тернбулл, – но я не стану

притворяются, что не понял вас. С вами случилось примерно вот что: вы узнали о своих святых и ангелах тогда же, когда усвоили начатки нравственности, да, тогда же, и от тех же людей. Потому вам и кажется, что это тесно связано. Допустим на минуту, что вы правы. Но разрешите спросить, не входят ли в тот целостный мир, который для вас столь реален, и чисто местные понятия: традиции клана, фамильная распря, вера в деревенских духов и прочее в этом роде? Не окрасили ли эти понятия – особенно чувства к вождю – ваше богословие?

Макиэн глядел на темную дорогу, по которой с трудом пробирался последний посетитель кабака.

– То, что вы сказали, довольно верно, – отвечал он, – но не совсем. Конечно, мы знали разницу между нами и вождем клана, но она была совсем другой, чем разница между человеком и Богом или между зверем и человеком. Скорее она походила на разницу между двумя видами зверей. Однако...

– Что вы замолчали? – спросил Тернбулл. – Говорите! Кого вы ждете?

– Того, кто нас рассудит, – отвечал Макиэн.

– А, Господа Бога! – устало сказал Тернбулл.

– Нет, – покачал головою Макиэн, – вот его.

И он показал пальцем на последнего посетителя, которого заносило то туда, то сюда.

– Его? – переспросил Тернбулл.

– Именно его, – сказал Макиэн. – Того, кто встает на заре и пашет землю. Того, кто, вернувшись с работы, пьет эль и поет песню. Все философские и политические системы намного моложе, чем он. Все храмы, даже наша Церковь, пришли на землю позже, чем он. Ему и подобает судить нас.

Тернбулл усмехнулся.

– Этот пьяный неуч... – начал он.

– Да! – яростно заорал Макиэн. – Оба мы знаем много длинных слов. Для меня человек – образ Божий, для вас – гражданин, имеющий всякие права. Так вот он. Божий образ; вот он, свободный гражданин. Первый встречный и есть человек. Спросим же его.

И он гигантскими шагами двинулся в гущу сумерек, а Тернбулл, добродушно бранясь, пошел за ним.

Поймать образец человека было не так легко, ибо, как мы уже говорили, его заносило туда и сюда. Отметим кстати, что он пел о короле Уильяме (неизвестно, каком именно), который жил в самом Лондоне, хотя в остальном текст был полон чисто местных географических названий. Когда оба шотландца пересекли его извилистый путь, они увидели, что он скорее стар, чем молод, что волосы у него пегие, нос красный, глаза – синие, а лицо, как у многих крестьян, словно бы составлено из каких-то очень заметных, но не связанных между собой предметов. Скажем, нос его торчал, как локоть, а глаза сверкали, как лампы.

Приветствовав их с пьяной учтивостью, он остановился, а Макиэн, сгоравший от нетерпения, сразу начал беседу; он старался употреблять только понятные и конкретные слова, но слушатель его, по-видимому, больше тяготел к словам книжным, ибо схватился за первое же из них.

– Атеисты! – повторил он, и голос его был преисполнен презрения, – Атеисты! Знаем мы их! Да. Вы мне про них не говорите! Еще чего, атеисты!..

Причины его презрения были не совсем ясны; однако Макиэн торжествующе воскликнул:

– Ну вот! Вы тоже считаете, что человек должен верить в Бога, ходить в церковь...

При этом слове образец указал на колокольню.

– Вот она! – не без труда выговорил он. – При старом помещике ее было снесли, а потом опять...

– Я имею в виду религию, – сказал Макиэн, – священников...

– Вы мне про них не говорите! – оживился крестьянин. – Знаем мы их! Да. Чего им тут надо, э? Чего, а?

– Им нужны вы, – сказал Макиэн.

– Именно, – сказал Тернбулл, – и вы, и я. Но мы им не достанемся! Макиэн, признайте свое поражение. Разрешите мне попытаться. Вам, мой друг, нужны права. Не церкви, не священники; а право голоса, свобода слова, то есть право говорить то, что вы хотите, и...

– А я что ж, не говорю, что хочу? – возразил с непонятной злобой пьяный крестьянин. – Нет уж! Я что хочу, то и скажу! Я – человек, ясно? Не нужны мне ваши, эти, голоса и священники. Человек, он человек есть. А кто ж он еще? Человек! Как увижу, так и скажу: вот он, человек-то!

– Да, – поддержал его Тернбулл, – свободный гражданин.

– Сказано, человек! – повторил крестьянин, грозно стуча палкой по земле. – Не гра... ик... ну, это... а че-ло-век!

– Правильно, – сказал Макиэн, – вы знаете то, чего не знает теперь никто в мире. Доброй вам ночи!

Крестьянин снова запел и растворился во мраке.

– Странный тип, – заметил Тернбулл. – Ничего не понял. Заладил свое: человек, человек.

– А кто сказал больше? – спросил Макиэн. – Кто знает больше этого?

– Уж не становитесь ли вы агностиком? – спросил Тернбулл.

– Да поймите вы! – крикнул Макиэн. – Все христиане агностики. Мы только и знаем, что человек – это человек. А ваши Золя и ваши Бернарды Шоу даже в этом ему отказывают.

## Глава VIII ПЕРЕРЫВ

Холодное серебро зари осветило серую равнину, и почти в ту же самую минуту оба шотландца появились из невысокой рощи. Они шли всю ночь.

Они шли всю ночь и почти всю ночь говорили, и если бы предмет их беседы можно было исчерпать, они исчерпали бы его. Сменялись доводы, сменялись ландшафты. Об эволюции спорили на холме, таком высоком, что, казалось, даже в эту холодную ночь его обжигают звезды; о Варфоломеевской ночи – в уютной долине, где золотой стеной стояла рожь; о Кэнсите – в сумрачном бору, среди одинаковых, скучных сосен. Когда они вышли на равнину, Макиэн пылко отстаивал христианское Предание.

Он много узнал и о многом думал с тех пор, как покинул скрытые тучами горы. Он повстречал много нынешних людей в почти символических ситуациях; он изучил современность, беседуя со своим спутником, ибо дух времени легко усвоить из слов и даже из самого присутствия живого и умного человека. Он даже начал понимать, почему теперь так единодушно отвергают его веру, и яростно ее защищал.

– Я понял одну или две ваши догмы, – как раз говорил он, когда они пробирались сквозь рощу на склоне холма, – и я отрицаю их. Возьмем любую.

Вы полагаете, что ваши скептики и вольнодумцы помогали миру идти вперед. Это неверно. Каждый из них создавал свое собственное мироздание, которое следующий еретик разбивал в куски. Попробуйте, поищите, с кем из них вы договорились бы. Почитайте Годвина или Шелли, или деистов XVIII столетия, или гуманистов Возрождения, и вы увидите, что вы отличаетесь от них больше, чем от Папы Римского. Вы – скептик прошлого века, и потому вы толкуете мне о том, что природа безжалостна.

Будь вы скептиком века позапрошлого, вы бы укоряли меня за то, что я не вижу ее чистоты и милосердия. Вы – атеист, и вы хвалите деистов. Почитайте их, чем хвалить, и вы увидите, что их мир не устоит без божества. Вы – материалист, и вы считаете Бруно мучеником науки. Посмотрите, что он писал, и вы увидите в нем безумного мистика. Нет, великие вольнодумцы не разрушили Церкви. Каждый из них разрушил лишь вольнодумца, предшествовавшего ему. Вольнодумство заманчиво, соблазнительно, у него немало достоинств, одного только нет и быть не может – прогрессивности. Оно не может двигаться вперед, ибо ничего не берет из прошлого, всякий раз начинает сызнова, и каждый раз ведет в другую сторону. Все ваши философы шли по разным дорогам, потому и нельзя сказать, кто дальше ушел. Нет, только две вещи на свете движутся вперед, и обе они собирают сказанное раньше. Быть может, они ведут вверх, быть может – вниз, но они ведут куда-то. Одна из них – естественные науки. Другая – христианская Церковь.

– Однако! – сказал Тернбулл. – И конечно, наука весьма обязана Церкви.

– Если уж зашла об этом речь, – отвечал Макиэн, – то я скажу: да, обязана. Когда вы думаете о Церкви, преследующей науку, вам смутно мерещится Галилей. Но перечитайте научные открытия после падения Рима и вы увидите, что многие из них сделаны монахами. Однако это не важно. Я хотел привести пример того, что воистину может развиваться, как развивается наука. Церковь в мире духовном – то же, что наука в своем мире.

– С той разницей, – сказал Тернбулл, – что плоды науки видны, ощутимы. Кто бы ни открыл электричество, мы им пользуемся. Но я нигде не вижу духовных, или просто нравственных плодов,

которыми мы обязаны Церкви.

– Они невидимы, потому что они нормальны, – отвечал Макиэн. – Христианство всегда немодно, ибо оно всегда здраво, а любая мода в лучшем случае – легкая форма безумия. Когда Италия помешалась на пуританстве. Церковь казалась слишком преданной искусствам. Сейчас мы связаны для вас с монархией, хотя при Генрихе VIII именно мы не признали божественных прав кесаря. Церковь всегда как бы отстает от времени, тогда как на самом деле она – вне времени. Она ждет, пока последняя мода мира увидит свой последний час, и хранит ключи добродетели.

– Ох, слышал я все это! – отмахнулся Тернбулл. – Это такая чушь, что даже не рассердишься. Ну, хорошо, христианство хранит нравственность. Но сами же вы не пользуетесь этой лакмусовой бумажкой! Когда вы зовете врача, вы не спрашиваете, христианин он или нет. Вам важно, хорошо ли он лечит, честен ли он – словом, многое, только не его вера. Если вера так важна, почему вы не поверяете ею всех людей?

– Когда-то мы поверяли, – отвечал Макиэн, – и вы нас за это бранили. Ничего, я заметил, что чаще всего именно так и спорят с христианством.

– Ответ неплох для ученого спора, – добродушно признал Тернбулл, – но вопрос остается. Поставлю его иначе: почему вы не доверяете одним лишь христианам, если только они – хорошие люди?

– Что за ерунда?! – воскликнул Макиэн. – Почему только они? Неужели вы думаете, что Церковь когда-нибудь так считала? Средневековые католики говорили о добродетели язычников столько, что это всем надоело. Нет, мы имеем в виду совсем другое. Надеюсь, даже вы согласитесь, что завтра в Ирландии или в Италии может появиться такой человек, как Франциск Ассизский, – не такой же хороший, а просто такой же самый. Возьмем теперь другие человеческие типы. Некоторые из них поистине прекрасны. Английский джентльмен-елизаветинец был предан чести и благороден. Но можете ли вы здесь, сейчас стать елизаветинцем? Республиканец XVIII века, с его суровым свободолобием и высоким бескорыстием, был по-своему неплох. Но видели вы его? Видели вы сурового республиканца? Прешло немногим больше столетия, и огнедышащая гора чести и мужества холодна, как лунный кратер. То же самое произойдет и с нынешними нравственными идеями. Чем можно тронуть теперь клерка или рабочего? Наверное, тем, что он – гражданин Британской империи, или тем, что он член профсоюза, или тем, что он сознательный пролетарий, или тем, наконец, что он – джентльмен, а это уже неправда. Все эти имена достойны, но долго ли они продержатся? Империи падают, производственные отношения меняются. Что же остается? Я скажу вам. Остается святой.

– А если он мне не нравится? – сказал Тернбулл.

– Вернее было бы спросить, нравятся ли вы ему. Но слова ваши разумны. Вы вправе, как любой обычный человек, подумать о том, нравятся ли вам святые. Но именно обычному человеку они очень нравятся. Осуждаете же вы их не как человек, а как, простите, заумный интеллектуал с Флит-стрит. То-то и смешно! Люди всегда восхищались христианскими добродетелями, и больше всего теми, которые особенно пылко осуждают теперь. Вы сердитесь на нас за то, что мы дали миру идеал целомудрия – но не мы первые! Идеал этот чтит и в Афинах, городе девственницы, и в Риме, где горел огонь весталок. Разница лишь в одном: христиане осуществили этот идеал, он уже – не поэтическая выдумка. Когда вы и ваши единомышленники на него нападаете, вы встаете не против христиан, а против Парфенона, и против Рима, и против европейской традиции, против льва, который щадит девственниц, и единорога, который чтит их, против Шекспира, написавшего «Мера за меру», – словом, против Англии и против всего человечества. Не кажется ли вам, что, может быть, вы ошибаетесь, а не оно?

– Нет, – отвечал Тернбулл, – не кажется. Мы правы, даже если не прав Парфенон. Мир движется, психология меняется, рождаются новые, более тонкие идеалы. Конечно, в половой сфере необходима чистота. Вы посмеетесь, но я скажу: мы понимаем, что можно быть страстным, как сэр Ланселот, и чистым, как сэр Галахад. Да в конце концов, сейчас есть много новых, лучших идеалов. Например, мы научились восхищаться детьми.

– Да, – ответил Макиэн. – Это очень хорошо выразил один из современных авторов: «...если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Но вообще-то вы правы, перед детством теперь преклоняются. Перед чем же именно, спрошу я? Что это, как не преклонение перед детством? Разве незрелое и маленькое непременно лучше зрелого и большого? Да, вы пытались уйти от старого идеала, но к нему и пришли. Почему же я не прав, когда называю вечными такие ценности?

С этими словами они и вышли из рощи. Джеймс Тернбулл помолчал, потом сказал довольно

резко: «Нет, я просто не могу во все это поверить». Макиэн не ответил, быть может, ответа на такие слова и нет. И больше в этот день они не говорили.

## Часть третья

### Глава IX ЗАГАДОЧНАЯ ДАМА

Большая, почти полная луна осветила равнины и обратила их в голубое светящееся озеро. Два шотландца шли молча не меньше получаса. Наконец Макиэн остановился и вонзил шпагу в землю, словно то был шест палатки, где они устроятся на ночь. Потом он обхватил большими руками темноволосую голову, как делал всегда, когда хотел ускорить течение мыслей.

– Трудно сказать, чего хочет от нас с вами Бог, – проговорил он в конце концов, опуская руки. – Но чего-то Он хочет. Всякий раз, когда мы скрещиваем шпаги, нам что-нибудь мешает. Нам не везет, и мы не можем стать ни друзьями, ни противниками.

Тернбулл серьезно кивнул и медленно оглядел пустынный луг, перерезанный большой дорогой.

– Здесь нам не могут помешать, – сказал он.

– Об этом я и думал, – сказал Макиэн, пристально глядя на рукоять вонзенной в землю шпаги, которая покачивалась на ветру, словно огромный шип. – Об этом я и думал, мы одни. Много миль мы прошли, не услышав ни голоса, ни цокота копыт, ни паровозного гудка. Значит, можно остановиться и попросить о чуде.

– О чуде? – переспросил атеист, упиваясь удивлением.

– Простите меня, – кротко сказал Макиэн, – я забыл о ваших предрассудках. – Он печально и задумчиво смотрел на колеблемую ветром шпагу и продолжал: – Понимаете, сейчас мы можем узнать, надо нам сражаться, или не надо. Как пророк Илья, предлагаю вам обратиться в судилище небес. Скрестим шпаги на пустынной равнине, залитой лунным светом. И если здесь, в этой светлой пустоте, нам что-нибудь помешает – молния ударит в клинок, заяц кинется под ноги, – сочтем это знаменем и станем друзьями навеки. Сердитая усмешка мелькнула под рыжими усами редактора, и он сказал:

– Прежде, чем ждать знамения Господня, надо было бы дождаться знаменья науки о том, что Бог существует. Однако все-таки ни один ученый не вправе отказаться от эксперимента.

– Прекрасно, – отвечал Макиэн. – Тогда начнем. – И выдернул из земли шпагу.

Тернбулл глядел на него с полминуты, потом сделал быстрое движение, и в лунном свете сверкнула сталь.

Как опытные шахматисты начинают партию традиционными ходами, так и они начали поединок: один сделал безобидный выпад, другой легко отбил его. Исполнив этот ритуал, Макиэн яростно кинулся на противника, а Тернбулл, сжав зубы, дождался третьего, самого отчаянного выпада, и мастерски его отбил, когда неподалеку раздался крик, похожий на крик раненого животного.

Должно быть, неверующий редактор был суеверней, чем думал: вместо того, чтобы перейти в атаку, он застыл на месте. Макиэн знал, что верит в знамения, и не размышляя отбросил шпагу. Крик раздался снова. Теперь было ясно, что кричит молодая женщина.

– Это глас Божий, – сказал Макиэн, широко открыв большие светлые глаза, так мало сочетавшиеся с черными волосами. – Да, глас Божий, – повторил он.

– Однако тонкий у Бога голос, – сказал редактор, не упуская случая для самого дешевого кощунства. – Нет, Макиэн, кричит не ваш Бог, а куда более важная личность – человек... нет, еще важнее – женщина в беде. Бежим ей на помощь!

Макиэн молча схватил отброшенную было шпагу, и они побежали туда, откуда слышался крик.

Чтобы сократить путь, они мчались полем, наперерез, сквозь высокие травы, перескакивая через глубокие кроличьи норки. Тернбулл два раза чуть не упал; Макиэн, хотя и был тяжелее, научился бегать у себя в горах. Но оба облегченно вздохнули, вынырнув на дорогу.

Там, на белой дороге, лунный свет был ярче и светлее, чем в серо-зеленом поле, и сразу можно было понять, что же происходит.

У левой обочины стоял маленький, очень изящный автомобиль, а большой, зеленоватый, наполовину увяз еще левее. Из него уже вылезли четыре франтоватых человека.

Трое обращались к луне с малоприличными сетованиями, четвертый грозил тростью шоферу маленькой машины. Шофер как раз поднимался, чтобы ему ответить. Рядом, тоже впереди, сидела молодая женщина.

Сидела она очень прямо и теперь не кричала. На ней был темный костюм; густые каштановые волосы обрамляли ее лицо, словно два крыла или две волны, профиль ее был четок и строг, как у сокола, только что выпущенного из гнезда.

Тернбулл обладал здравым смыслом и хорошо знал жизнь, о чем не подозревали его друзья, ибо он был очень рассеян. Когда, размышляя о небытии Божьем, он стоял у дверей своей редакции, жизнь, мелькавшая перед глазами, западала в его душу. Он с одного взгляда понимал и человека, и ситуацию. То, что он понял сейчас, прибавило ему прыти.

Он понял, что люди эти богаты, что они пьяны, что они – а это хуже всего – очень испуганы. Опыт подсказал ему, что ни один неотесанный вор, нападающий на женщин в книгах, не сравнится в грубости и злобе с перепуганным джентльменом. Причина проста: вор привык к полицейскому участку, джентльмен – не привык. Когда герои наши подбежали ближе и услышали, что кто-то кричит, ожидания Тернбулла полностью оправдались. Тот, что стоял посередине, орал, что шофер налетел на их машину нарочно и должен теперь везти их туда, куда им надо. Шофер отвечал, что везет домой свою хозяйку. «Ничего, мы ее не обидим!» – сказал самый краснолицый, и засмеялся дребезжащим старческим смешком.

Когда герои наши добрались до места, дела шли еще хуже. Тот, кто кричал на шофера, занес над ним палку, но шофер ее перехватил, а пьяный упал навзничь, увлекая за собой противника. Собутельник его кинулся на шофера сзади и пнул его ногой. Первый джентльмен поднялся на ноги, шофер не поднялся.

Тот, кто ударил шофера, перепугался еще сильнее и тупо уставился на бездыханное тело, что-то бормоча в свое оправдание. Трое других, издав победный крик, окружили с трех сторон маленькую машину. Именно в этот момент Тернбулл обрушился на них, словно с неба. Одного схватил за шиворот и отшвырнул в лужу (тот упал ничком); второй, уже ничего не понимавший спяну, бестолково бил ногой в багажник; третий бросился на незваного мстителя. Тут вылезла из лужи первая жертва, навалилась на врага сзади, но в этот миг до места схватки добежал Макиэн.

Тернбулл дрался руками, а не шпагой, если того не требовал этикет, но для Макиэна шпага была естественней, и он орудовал ею как палкой. Пьяница с тростью лишился своих преимуществ; когда же трость вылетела у него из рук, а приятель его схватил ее и кинулся на Макиэна, призывая друзей на помощь, он пробормотал: «У меня трости нет...», и выбыл на время из драки.

Макиэн тем временем выбил трость и у второго врага и швырнул ее подальше, как вдруг услышал за своей спиной легкий шорох. Молодая женщина, привстав немного, смотрела на битву. Тернбулл еще дрался с третьим пьяницей, четвертый в обществе не нуждался и радостно пихал багажник, о чем-то рассуждая.

Противник Тернбулла был сильнее и храбрее прочих, и честь обязывает нас признать, что он мог бы победить, если б не поскользнулся на мокрой траве. Пока он поднимался, Тернбулл кинулся выручать Макиэна, с которым сражались теперь два врага, правда – руками против шпаги, но один висел на нем сзади. Подкрепление пришло в самую пору, как Блюхер при Ватерлоо; оба врага убежали рысцой. Радостного, брыкающегося джентльмена Макиэн взял за шкурку, словно бродячего кота, и посадил на обочину дороги. Потом он обошел машину и смущенно снял шляпу.

Несколько долгих мгновений Макиэн и незнакомка просто смотрели друг на друга, и ему казалось (а это не очень приятно), что они внутри какой-то картины, висящей на стене, ибо полная неподвижность сочеталась в них с необычной значительностью. На дорогу Макиэн не глядел, не видел ее, и ему казалось, что она покрыта снегом. Не глядел он и на машину, но ему казалось, что это – карета, на которую напали разбойники. Ему – якобиту, воскресшему из мертвых, ему, так любившему поединки и старинное вежество, казалось наконец, что он попал именно в ту картину, из которой когда-то выпал.

Пока длилось молчание, он разглядел свою даму. До сих пор он никогда не разглядывал человека. Сперва он увидел ее лицо и волосы, потом – длинные перчатки; потом – маленькую меховую шапочку. Почему молчала дама, объяснить труднее; быть может, она еще не пришла в себя. Во всяком случае именно она первая вспомнила о шофере и виновато воскликнула:



– О, что же с ним?

Оба резко обернулись и увидели, что Тернбулл тащит шофера в машину. Тот уже очнулся и слабо поводил левой рукой.

Дама в меховой шапочке и длинных перчатках кинулась было к нему, но Тернбулл успокоил ее (в отличие от многих своих единомышленников, он не только верил в науку, но кое-что знал).

– Он жив и здоров, – сказал отважный редактор. – А вот машину он не сможет вести еще не меньше часа.

– Вести могу я, – сказала дама, проявляя неколебимую практичность.

– Ну, тогда... – начал Макиэн, не смог договорить фразы, и в том невыносимом смущении, без которого нет романтики, двинулся прочь, словно он теперь за даму спокоен. Но более разумный – то есть более равнодушный Тернбулл угрюмо произнес:

– Вам не надо бы ехать одной, мадам. Можете встретить других нахалов, а от шофера сейчас мало проку. Если вы не возражаете, мы проводим вас до дома.

Молодая женщина смутилась, как смущаются те, кому это не свойственно.

– Спасибо вам большое, – и резковато, и беспомощно сказала она. – И за все спасибо. Места здесь много, садитесь.

Незаинтересованный Тернбулл легко вскочил в машину, но Макиэн не сразу сдвинулся с места, словно врос в него корнями. Наконец он неловко влез на сиденье; ему мешали длинные ноги, но – что много важнее – он испытывал чувство, знакомое многим людям, которых пригласили остаться к чаю или к ужину: ему казалось, что он ныряет в небо. Воскресающего шофера посадили сзади, Тернбулл уселся с ним, Макиэн – впереди. Машина дернулась и побежала, а за нею побежал, что-то крича, вставший с дороги джентльмен. Если слова его представляли какую-то ценность, печально признать, что никто на свете их не услышал.

Машина бежала по залитым светом равнинам; но сидящие в ней – по той, по иной ли причине – никак не могли заговорить. Чувства дамы выражались в том, что она мчала все быстрее; потом, неизвестно почему, снова уменьшила скорость. Тернбулл – самый спокойный из всех – сказал было что-то о лунном свете, но сразу замолчал. Макиэн просто не помнил себя, словно попал на луну в какой-нибудь сказке. То, что происходило, отличалось от обычной жизни, как сон от яви, но сном была жизнь, а сейчас он не только проснулся

– он очнулся в новом, неведомом мире.

Можно сказать, что он обрел новую жизнь, где другое добро, другое зло, и сама радость так сильна, что разбивает сердце. Небеса не только послали знамение – небеса разверзлись и, пусть на час, наделили его своей силой. Никогда он не был так преисполнен жизни, но сидел неподвижно, как в трансе. Если бы его спросили, почему он так счастлив, он бы ответил, что счастье его держится на четырех-пяти фактах, как держится занавесь на пяти гвоздях: на том, что воротник его дамы оторочен мехом; на том, что лунный свет подчеркивает нежную худобу ее щеки; на том, что маленькие руки в перчатках крепко держат руль; на том, что дорога сверкает колдовским белым светом; на том, что ветер колышет не только каштановые волосы, но и темный мех шапочки. Факты эти были для него непостижимы и непреложны, как таинства.

Примерно в полумиле от места драки на дорогу упала большая тень. Тот, кто отбрасывал ее, оглядел машину искоса, но ничего не сделал. В лунном свете тускло сверкнули свинцовым блеском галуны его синей формы. Через триста ярдов показался еще один полицмен и чуть не остановил их, но засомневался и отступил. Девушка без сомнения была из богатых, и внимание полиции, столь привычное для бедных, так удивило ее, что она заговорила.

– Что им нужно? – сказала она, – Я не превышаю скорости.

– Да, – сказал Тернбулл, – вы хорошо ведете машину.

– Вы благородно ее ведете, – сказал Макиэн, и эти бессмысленные слова удивили его самого.

Машина проехала еще милю, и снова миновала полицейского. Он что-то кому-то крикнул, но больше ничего не случилось. Через восемьсот ярдов Тернбулл привстал и воскликнул, впервые проявляя волнение.

– Скорость тут ни при чем! Это из-за нас!

Макиэн не сразу обратил к нему белое, как луна, лицо.

– Если вы правы, – проговорил он, – мы должны об этом сказать.

– Пожалуйста, я скажу, – добродушно предложил Тернбулл.

– Вы? – вскричал Макиэн в искреннем удивлении. – Почему же вы? Это я... конечно, я обязан...

И он сказал своей даме:

– Кажется, мы навлекли на вас беду.– Слова эти показались ему нелепыми (как все, что он говорил девушке в длинных перчатках), и он в полном отчаянии продолжал: – Понимаете, нас преследуют.– И отчаялся вконец, ибо головка, увенчанная мехом, не шевельнулась.

– Нас преследует полиция,– отважно повторил он, и прибавил для ясности: – Видите ли, я верю в Бога.

Прядь темных волос отнесло ветром, линия щеки изменилась (что, конечно, потребовало создания новой эстетики), но девушка не сказала ничего.

– Понимаете,– продолжал Макиэн,– мистер Тернбулл написал в своей газете, что Дева Мария – просто женщина, дурная женщина. И я вызвал его на поединок. Мы как раз начали драться... но это было еще до вас.

Теперь девушка глядела на него, и лицо ее не было ни кротким, ни терпеливым. Потом она отвернулась. Когда Макиэн увидел гордый и тонкий профиль на фоне светлого неба, он понял, что все потеряно. Он просил, чтобы ангелы показали ему, прав он или не прав, но не ждал, что они так презрительно его осудят.

Наконец девушка сказала:

– Я думала, я надеялась, что в наше время люди уважают чужую веру.

– И даже неверие? – еле выговорил Макиэн, и услышал в ответ:

– Надо быть терпимей.

Он никому не спустил бы таких слов, но сейчас принял их как высший суд, словно понял, что его фантазию победила детская простота. Все, что делала и говорила эта девушка, было для него преисполнено добра и духовной тонкости. Как многие люди, которых сразило это простое чувство, он погрузился в мир этических понятий. Если бы кто-нибудь заговорил об ее «доблестной блузке», «благородных перчатках» или «милостивых туфлях», он бы прекрасно это понял.

Но девушке он не ответил, и, быть может огорченная этим, она сказала чуть мягче:

– Так правды не найдешь. Это все зря. Вы знаете, сколько всяких вер, и каждый считает, что прав. Мой дядя – последователь Сведенборга.

Макиэн сидел опустив голову и жадно слушал ее голос, не вникая в слова,– но великая драма его жизни становилась все меньше и меньше, пока не стала маленькой, словно детский кукольный театр.

– Время теперь не то,– говорила девушка,– ничего вы не докажете, и не найдете... да и нечего искать...– И она устало вздохнула, ибо, как у многих девушек ее класса, разум ее был стар и разочарован, хотя чувства еще оставались молодыми.

Когда они проехали еще с полмили, она сказала, как бы ставя точку:

– В общем, это полная чепуха!

И вздохнула снова.

– Вы не совсем понимаете...– начал Тернбулл, но вдруг закричал: – Эй, что это?

Машина резко затормозила, так как поперек дороги стояло несколько полисменов. Сержант вышел вперед и прикоснулся к каске, обращаясь к настоящей леди:

– Прошу прощения, мисс,– он немного смутился, понимая, что она из богатых.– Мы, понимаете ли, подозреваем, что эти люди, которых вы везете... э-э...– И он не кончил фразы.

– Да, я Эван Макиэн,– сказал человек, носящий это имя, не без печальной торжественности, свойственной школьникам.

– Сейчас мы выйдем, сержант,– сказал Тернбулл попроще.– Я Джеймс Тернбулл. Мы не хотим доставлять неприятности даме.

– За что вы их преследуете? – спросила дама, глядя на дорогу.

– За нарушение порядка,– отвечал полисмен.

– А что им будет? – так же холодно спросила она.

– Пошлют на излечение.

– Надолго?

– Пока не вылечатся,– отвечал служитель закона.

– Что ж,– сказала девушка,– не буду вам мешать. Но эти господа оказали мне большую услугу. Если разрешите, я с ними попрощаюсь. Не отойдут ли ваши люди немного в сторону? Как-то неудобно при них...

Сержант был рад хоть немного загладить перед истинной леди свою вынужденную неловкость.

Полицейские отошли. Тернбулл взял обе шпаги – единственный, теперь ненужный багаж. Макиэн, боясь думать о разлуке, распахнул дверцу.

Однако выйти ему не довелось – хотя бы потому, что опасно выходить из мчащейся машины. Не оборачиваясь, не говоря ни слова, девушка дернула какую-то ручку, машина рванула вперед, как буйвол, и понеслась, как гончая. Полисмены побежали вдогонку, и тут же бросили это нелепое и бесполезное занятие.

Дверца хлопала, машина неслась, Макиэн стоял, согнувшись, и ничего не понимал. Черная точка вдали стала густым лесом, который поглотил их и выплюнул. Железнодорожный мост вырос, навис над ними – и тоже остался позади. Пролетели какие-то селения, залитые лунным светом, и жители, должно быть, просыпались на минуту, словно мимо них пронеслось землетрясение. Иногда на дороге попадался крестьянин и глядел на них, как на летучий призрак.

А Макиэн все стоял, дверца все хлопала, словно знамя на ветру. Тернбулл уже пришел в себя и громко смеялся. Девушка сидела неподвижно.

Наконец Тернбулл перегнулся вперед и закрыл дверцу. Эван опустил на сиденье и обхватил голову руками. Машина мчалась, девушка не двигалась. Луна уже скрылась, приближалась заря, оживали звери и птицы. Наступили те таинственные минуты, когда утренний свет словно создается впервые и меняет весь мир. Люди в машине взглянули на небо и увидели мрак; потом они различили черное дерево и поняли, что мрак этот – серый. Куда они едут, ни Тернбулл, ни Макиэн не знали; но догадывались, что путь их лежит на юг. А немного позже Тернбулл, проводивший когда-то лето на море, узнал приморские деревни, которые не спутаешь ни с чем, хотя описать их невозможно. Потом меж черных сосен сверкнуло белое пламя, и заря – как многое на свете, а не в книгах – возникла гораздо быстрее, чем можно было думать. Серое небо свернулось, как свиток, открывая блаженное сияние, когда машина перевалила через холм; а на сияющем фоне появилось одно из тех искривленных деревьев, которые первыми сообщают о том, что рядом – *море*.

## Глава X ПОЕДИНОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Когда они перевалили через холм, весь Божий мир открылся им и сверху, и снизу, словно увеличившись в несколько раз. Почти под ногами лежало бескрайнее море, такое же светлое и пустое, как небо. Солнце поднималось над ними, бесшумно сверкая, словно ночь без единого звука разлетелась на куски. Победные солнечные лучи окружало сияние переходящих друг в друга цветов – лилово-коричневого, голубого, зеленого, желтого, розового, – словно золото гнало перед собой побежденные краски мира.

Самый пейзаж был строг, прост, но неровен, и казалось, что машину затягивает в огромный и тихий водоворот. Во всяком случае, Тернбуллу показалось так, ибо он впервые за много часов высказал свежую мысль.

– Если мы будем так мчаться, – промолвил он, – мы слетим с обрыва в море.

– Как хорошо! – сказал Макиэн.

Однако, спустившись на берег, машина мягко свернула, проехала сквозь редкие деревья и тихо остановилась. Хотя светило солнце, в маленьком домике (вероятно, там жил привратник) почему-то горел свет. Девушка обратила к сверкающему небу прекрасное лицо.

Эван сидел, потрясенный тишиной, словно издавна привык к шуму и скорости. Потом он встал, покачнувшись на длинных ногах, попытался овладеть собой и все же задрожал. Тернбулл уже открыл заднюю дверцу и выскочил из машины.

Как только он вышел, загадочная дама, неизвестно почему, проехала еще несколько ярдов, затормозила, вышла сама и с почти жестоким безразличием стала стягивать длинные перчатки.

– Спасибо, до свиданья, – сказала она так беспечно, словно они случайно встретились минут пять назад. – Здесь живет наш привратник. Зайдите к нам, если хотите, но кажется, вы оба заняты.

Эван глядел на ее лицо и видел, что оно прекрасно; он слишком поглупел, чтобы увидеть, как оно измождено, и догадаться, что за строгостью скрывается смертельная усталость. Он поглупел настолько, что продолжал беседу.

– Почему вы нас спасли? – несмело спросил он, не отрывая взгляда от ее лица.

Девушка рванула перчатку, словно оторвала руку, и горестно отвечала:

– Не знаю. Сама не пойму.

Эван молчал, не ведая, что ничего более умного он сделать не мог.

По-видимому, молчание и утреннее солнце оказали целительное действие, ибо загадочная дама заговорила наконец мягко и почти виновато.

– Спасибо вам большое,– сказала она.– Я вам очень благодарна.

– Нет, почему *вы* нас спасли? – повторил ободренный и упорный Макиэн.

Большие темные глаза осветились странным светом – не то великой печали, не то внезапной и непривычной откровенности.

– Бог его знает! – вскричала девушка.– Бог знает, что, если Он есть, Он от всего отвернулся. Бог знает, что я никогда не радовалась, хотя красива и молода, и у отца куча денег. Мне говорят, *что* надо делать, я делаю – и все это чувствую. Мне говорят, работай с бедными, то есть читай им Рескина и чувствуй себя хорошей. Мне говорят, служи тому и сему, то есть – выгоняй людей из лачуг, где они жили, в новые дома, где они умирают. Я должна давать неимущим, а у меня есть только горький смех, пустая голова, пустое сердце. Я должна учить неученых, а я не верю в то, чему меня учили. Я должна спасать людей, а я не знаю, зачем им жить. Конечно, я спасла бы утопающего, как спасла и вас, или погубила, или сама не знаю что...

– Почему же вы спасли нас? – тихо спросил Эван, не отрывая взгляда.

– Мне не понять, голова не вмещает,– отвечала девушка.

Она долго молчала, глядя на то, как меняется синева сверкающего моря, и наконец промолвила:

– Описать это нельзя, но я попробую. Мне кажется, не только я несчастна – никто не счастлив в мире. Отец несчастлив, хотя он член парламента...– Она слабо улыбнулась.– Тетя Мэйбл несчастна, хотя какой-то индус поведал ей высшие тайны. Но я могу и ошибаться... я могу не знать, что есть выход... Недолго, совсем недолго я чувствовала, что вы его нашли и потому вас все преследуют. Понимаете, если выход есть, он непременно покажется очень странным.

Эван приложил ладонь ко лбу и неловко начал:

– По-вашему, мы кажемся...

– Ну конечно, вид у вас самый дикий! – перебила она с неожиданной простотой.– Вам бы помыться и почиститься!

– Вы забыли, что мы очень заняты,– сказал Макиэн, и голос его дрогнул.

– Я бы на вашем месте не погибала в таком виде,– с нечеловеческой честностью сказала она.

Эван снова застыл в молчании, а удивительная девушка еще раз изменилась на глазах: она беспомощно раскинула руки и сказала тихим голосом, который он потом слышал и днем и ночью:

– Разве я могу вас останавливать? То, что вы делаете, по-моему, так глупо, что это должно быть правильно,– она вздохнула.

Тернбулл глядел на море, но слышал, и медленно отвернулся. А девушка тронула руку Макиэна и исчезла в темной аллее.

Эван стоял неподвижно, как древнее изваяние. Тернбулл окликнул его раза два, хлопнул по плечу, но он пошатнулся в таком гневе, словно их разделил Божий меч. Нет, он не возненавидел Тернбулла – быть может, он только сейчас полюбил его. Но неверующий редактор был теперь хуже, чем враг,– он стал обреченной жертвой или будущим палачом.

– Что с вами? – спросил Тернбулл, не опуская руки, хотя понял больше, чем думал.

– Джеймс,– сказал Эван, морщась от сильной боли.– Я просил знамения у Бога, и я его получил. Господь знает, как я слаб. Он знает, что я могу забыть лицо Его Матери, даже оскверненное вашей пощечиной И вот. Он связал меня словом, и мы должны драться.

– Я понимаю вас,– сказал Тернбулл,– хотя вы говорите все задом наперед. Мы должны что-то сделать для нее, когда она столько сделала для нас.

– Я никогда не любил вас так сильно,– сказал Макиэн.– Да, она рискует покоем и честью, добрым именем, достоинством, привычной жизнью, надеясь услышать о том, что мы пробрили дыру в небе.

Пока он говорил это, три важных лакея вышли из ворот парка и повели шофера в дом. Самый их вид так не подходил к этой беседе, что оба шотландца, сами того не заметив, кинулись прочь и оказались на самом краю Англии. Эван сказал: «Разрешат ли мне там, на небе, видеть ее хотя бы раз в тысячу лет?», обращаясь к атеисту, словно тот мог ему дать достоверный ответ. Но Тернбулл не отвечал, и они помолчали. Когда же редактор заговорил, речь его была о другом.

– Я знаю эти места,– сказал он.– Я знаю, где нам драться. Там, под обрывом, полоса песка, на

которой никто нас не увидит.

Макиэн кивнул и тоже подошел к краю обрыва. Рассвет, занявшийся над берегом и морем, был из тех редких и прекрасных рассветов, когда нет ни мглы, ни тумана, и все на свете становится и яснее и четче. Прозрачными стали цвета, словно предвещая совершенный мир, в котором все будет и безгрешным, и понятным, а сами тела наши уподобятся сверкающему стеклу. Море перед ними казалось мощным изумрудом, небо ослепляло белизной, а у самого горизонта сверкала кайма облаков, такого глубокого и сияющего цвета, словно их отлили из небесного металла, который здесь, на земле, пытаются заменить жалкой подделкой, именуемой золотом.

Тернбулл уже спускался вниз и крикнул Макиэну, что на обрыве есть ступенчатая тропинка, а в самом низу – настоящая лестница. Пока наши герои спускались (обрыв был высокий), под ними жила и шелестела листва, все сильнее разгораясь в утренних лучах багрянцем, медью и зеленью. Жизнь кипела со всех сторон, птицы шелестели и пели в клетках ветвей или взлетали вверх, словно цветы, осыпаящиеся не вниз, а в небо. Зверьки, неведомые ни горожанину, ни уроженцу гор, шныряли под ногами. Оба шотландца – каждый по-своему – слышали сто третий псалом: Макиэн ощущал всей душой силу и милость Отца, Тернбулл – ту безымянную мощь, о которой сказал Лукреций. Так спускались они по лестнице жизни, чтобы умереть.

Наконец они остановились на бурном полумесяце песка и воткнули шпаги в неверную почву. Тернбулл быстро оглядел берег, и перед ним мелькнуло детство; но сказал он: «Да, здесь никто не бывает». Оба выдернули шпаги из мокрого песка и прошли туда, где песок этот с трех сторон окружали белые утесы, а с четвертой окаймляла зеленая стена моря.

– Я бывал тут в детстве, с тетей, – сказал Тернбулл. – Смешно, если тут я и умру. Можно, я выкурю трубку?

– Конечно, – отвечал Эван странным, сдавленным голосом и зашагал по мокрому, мерцающему песку.

Минут через десять он вернулся, бледный от сменяющих его чувств; Тернбулл весело выбил трубку и с обезьяньей ловкостью вскочил на ноги.

Прежде, чем отсалютовать шпагой, Макиэн, который, как все мистики, был на дюйм ближе к природе, оглядел арену их героической глупости. Кишащий жизнью склон сверкал в лучах солнца, и каждая птица, взлетающая в небо, светилась белым, как звезда или как голубь Духа Святого. Макиэн чувствовал, что мог бы написать книгу о каждой из этих птиц. Он знал, что и два столетия не устал бы от общения с кроликом. Дворец, в который он попал, был так преисполнен жизни, что даже ковры его и обои кишели живыми существами. Наконец он очнулся и вспомнил, зачем сюда пришел. Противники подняли шпаги, салютуя друг другу, и в этот самый миг Эван увидел, что Тернбулл стоит по щиколотку в соленой воде.

– Что такое? – спросил отважный редактор, научившийся замечать любое движение длинного, странного лица.

Макиэн снова посмотрел вниз, на серебристую воду, потом обернулся и увидел пену, взлетающую к небесам.

– Море отрезало нас от берега, – сказал он.

– Да, я знаю, – сказал Тернбулл. – Что будем делать? Эван бросил шпагу и, как обычно в таких случаях, обхватил руками голову.

– Я знаю, *что* это значит, – сказал он наконец. – Это очень честно. Господь не хочет, чтобы убивший остался живым.

Он помолчал (море шумело все громче) и снова заговорил так рассудительно и разумно, что у Тернбулла дрогнуло сердце.

– Понимаете, мы оба ее спасли... она обоим завещала драться... и будет несправедливо, если погибнет только один из нас.

– Вы считаете, – на удивление мягко и кротко сказал Тернбулл, – что хорошо сражаться там, где погибнет и победитель?

– Вот именно! – по-детски радостно вскричал Эван. – Как вы хорошо это поняли! Нет, вы и вправду знаете Бога!

Тернбулл не ответил и молча поднял шпагу.

Макиэн в третий раз взглянул на кишащий жизнью склон. Он жадно испил последний глоток дивных Божьих даров – зелени, пурпура, меди, – как осушают до дна бокал с драгоценным вином. Потом, обернувшись, он снова приветствовал Тернбулла шпагой, и они скрестили клинки, и

сражались до тех пор, пока пена не дошла им до колен.

Тогда Макиэн отпрыгнул в сторону.

– Джеймс! – крикнул он. – Не могу... вы меньше ростом... это будет нечестно.

– Что вы мелете? – сказал Тернбулл.

– Я выше вас фута на полтора, – в отчаянии сказал Эван. – Вас смоеет, как водоросль, когда вода не дойдет мне и до пояса. Я не стану сражаться так ни за женщину, ни за ангела.

– Еще посмотрим, кого смоеет! – воскликнул Тернбулл. – Сражайтесь, а то я ославлю вас трусом перед всеми этими тварями!

Первый выпад Макиэн отбил блестяще, второй похуже, третий совсем плохо, но именно в этот момент молот моря ударил с размаху побеждающего атеиста, сбил его с ног и увлек за собою.

Макиэн быстро схватил шпагу в зубы и кинулся спасать противника. Семь небес, одно за другим, морскими волнами упали на него, но ему удалось схватить утопающего за левую ногу.

Проборовшись минут десять с волнами, Эван вдруг заметил, словно очнувшись, что плывет по высокой, мирной зыби, держа в руках шпагу, а под мышкой – редактора газеты «Атеист». Что делать дальше, он не знал, и потому так и поплыл, естественно-одной рукой.

Когда на него неожиданно накатила снова высокая черная волна, он инстинктивно отшатнулся, как вдруг понял, что такой волны быть не может. Тогда он увидел, что это – рыбацья лодка, в с трудом ухватился за нее. Сперва он чуть ее не потопил, потом кое-как в нее взобрался и положил на дно бездыханного Тернбулла. Опять прошло минут десять, прежде чем он отдышался, огляделся и, не обращая внимания на то, что с волос его и одежды струится вода, бережно вытер шпагу, чтобы не заржавела. Потом он увидел на дне весла и стал медленно грести.

\* \* \*

Серые сумерки над морем сменились холодным светом, когда лодка, проплыв всю ночь неизвестно куда, достигла пустынной, как море, земли. Ночью было тихо, лишь иногда лодка взмывала вверх, словно на чье-то огромное плечо, – должно быть, где-то неподалеку проплывал корабль.

Но холод стоял сильный, а порою небо извергало несильные фонтаны дождя, и брызги словно бы замерзали на лету. Макиэн греб, сколько мог, но часто предавался воле ветра. Из всего, что было у них, осталась лишь фляжка бренди, и он поил прозябшего спутника так часто, что умеренный житель города даже удивлялся; но сам Макиэн прибыл из холодных, туманных краев, где человек глазом не моргнув может выпить в море стакан чистого виски и не опьянеть.

Завидев сушу, Макиэн подгрел поближе к берегу и помог своему спутнику идти по мелководу. Потом они долго шли какими-то серыми пустошами, пока не увидели следов человека. Ботинки у них совсем прохудились, камни резали ступни, и они опирались на шпаги, как паломники – на посох. Макиэну припомнилась баллада о том, как душа в чистилище бредет по каменистой равнине, и спасает ее лишь доброе дело, совершенное ею на земле; Ты снял сапог со своей ноги, Несчастному помог.

Обуй же эти сапоги, И не поранишь ног. .

Тернбулл не думал о столь возвышенных предметах, и ему было еще хуже.

Наконец они добрались до светло-серой дороги, окаймленной жесткой, почти бесцветной травой; а еще немного подальше они увидели серое от непогоды распятие, какие стоят при дороге только в католических странах.

Макиэн поднес к голове руки и обнаружил, что берета нет. Тернбулл посмотрел на распятие с тем состраданием, которое так верно выражено в любимых некогда стихах:

О, если Ты любил людей, Не возвращайся вновь!

Попы за деньги продают Поддельную любовь, И в кровь Твою отраву льют, Чтоб ядом стала кровь.

Оставив молящегося Макиэна, Тернбулл зорко огляделся, словно чего-то искал. Наконец он нашел и, вскрикнув, кинулся вперед – туда, где тускло серела какая-то изгородь. На ней едва держался клочок потемневшей бумаги. Тернбулл схватил его и увидел, что буквы на нем складываются в слова: «C'est elle qui»...

– Ура! – закричал он. – Мы свободны! Нет, мы не в раю, гораздо лучше; мы в стране дуэлей.

– О чем вы говорите? – спросил Макиэн, мрачно сдвинув брови, ибо его наконец утомили

трудная ночь и безотрадная заря.

– Мы во Франции! – ликовав Тернбулл. – Смотрите! – И он протянул драгоценный клочок. – Вот оно, знамение! «C'est elle qui», «именно она». Да, именно она спасет мир!

– Франция... – повторил Макиэн, и глаза его засветились, словно два фонаря.

– Франция! – воскликнул Тернбулл, и лицо его загорелось, как его волосы. – Франция, сражавшаяся всегда за разум и свободу! Франция, побивавшая мракобесов дубинкой Рабле и шпагой Вольтера! Франция, где чтят по сю пору великого Юлиана Отступника! Франция, сказавшая слова: «Мы погасили навсегда небесные огни!»

– Франция! – воскликнул Макиэн. – Франция, которую учил Бернард и вела Иоанна! Франция, сокрушавшая ереси молотом Боссюэ и Массильона! Франция, где в новое время обращаются мудрецы за мудрецом – Брюнтьер, Коппе, Бурже, Гауптман, Баррес...

– Франция! – восклицал Тернбулл с не свойственным ему пылом, – Франция, водомет сомнений от Абеяра до Франса! – Франция! – восклицал Макиэн. – Водомет веры от Людовика Святого до Лурдского чуда!

– Франция! – крикнул наконец Тернбулл задорно, как мальчишка. – Где думают о Боге и борются за свои идеи! Франция, где понимают пыл, породивший наш поединок! Здесь нас не будут гнать за то, что мы рискуем жизнью ради неверия или веры. Радуйтесь, мой друг, мы в стране, где царствует честь!

Не заметив неожиданных слов «мой друг», Макиэн кивнул, обнажил шпагу и далеко отшвырнул ножны.

– Да! – вскричал он. – Мы сразимся перед распятием!

– Он сможет увидеть Свое поражение, – сказал Тернбулл.

– Нет, – сказал Макиэн, – ибо Он его видел, и победил.

И сверкающие клинки ударили друг о друга, образуя жуткое подобие креста.

Однако почти сразу на земле, над распятием, возникло еще одно кошунственное подобие – человек, распростерший руки. Он исчез, но Макиэн, стоявший лицом в ту сторону, его заметил, и удивился еще больше, чем если бы само распятие ожило, ибо то был английский полисмен.

Отбивая удары, Макиэн гадал, откуда может взяться во Франции это загадочное создание. Гадать ему пришлось недолго. Не успели противники обменяться и десятком выпадов, как на холме, небесам на удивление, снова появился толстый полисмен. Теперь он махал лишь одной рукой и что-то кричал. Сразу же вслед за этим полицейские встали поперек дороги за спиной Тернбулла.

Увидев удивление на лице Макиэна, Тернбулл обернулся и попятился назад.

– Что вы здесь делаете? – сердито крикнул он, словно застал в своей кладовой воришку.

– Простите, сэр, – сказал сержант с той неуклюжей почтительностью, с какой обращаются к заведомо виноватому джентльмену, – а вы что здесь делаете?

– Это вас не касается, – воскликнул Тернбулл. – Если французская полиция против, пусть она и спрашивает. А вы тут при чем, синие сардельки?

– Я не совсем вас понял, сэр, – растерянно промолвил сержант.

– Я говорю, – повторил Тернбулл, – почему французская полиция не вмешивается?

– Понимаете, сэр, – отвечал сержант, – скорее всего потому, что мы не во Франции.

– Не во Франции? – переспросил Тернбулл.

– Вот именно, сэр, – отвечал сержант, – хотя говорят тут больше по-французски. Это остров Сэн-Луп, в Ламанше, сэр. А нас послали из Лондона, чтобы вас поймать. Так что, кстати скажу, все, что вы сделаете, может быть использовано против вас.

– Да, – сказал Тернбулл, – спасибо, что мне напомнили.

И он помчался со всех ног, а Макиэн, очнувшись и оставив полрукава в руке полицейского, побежал за ним.

Бегали они хорошо – куда лучше тяжеловесных служителей закона, да и особенности края использовали умней. Сперва они кинулись к берегу, где полисмены немедленно оказались по щиколотку в воде. Пока те выбирались на сушу, они вернулись и помчались прямо через поле. Добежав до другой дороги, они перешли на рысь, ибо полицейские уже исчезли из виду.

Примерно через полмили они увидели у дороги два белых домика и какую-то лавку. Только тогда редактор обернулся и сказал:

– Макиэн, мы неправильно взялись за дело. Как же нам драться, если нас все знают?

– К чему вы клоните? – спросил Макиэн.

– К тому,– отвечал Тернбулл,– что нам с вами надо зайти в эту лавку.

## Глава XI СКАНДАЛ В СЕЛЕНИИ

В селении Арок, на острове Сэн-Луп, жил гражданин Англии, воплощавший самую суть Франции. Он был довольно незаметен, как и многие его соотечественники; он не был «истинным французом» – их очень мало на свете. Обычному англичанину он показался бы старомодным и даже похожим на Джона Булля. Он был толстоват; он был невзрачен; он носил бакенбарды. Звали его Пьер Дюран, занимался он виноторговлей, придерживался умеренно-республиканских взглядов, воспитан был в католичестве, но жил и думал, как агностик. Дар у него был один (если слово это вообще здесь применимо): к любому случаю он находил расхожую истину, вернее – то, что мы бы так назвали. Сам он ее расхожей не считал и верил в нее всей душой. В нем не было и намека на ханжество или пошлость. Просто он придерживался обычных взглядов, и если бы ему об этом сказали, он был бы польщен.

Когда речь заходила о женщинах, он замечал, что им пристали достоинство и домовитость; но искрение верил в это и мог бы это доказать. Когда речь заходила о политике, он говорил, что все люди свободны и равны – и думал именно так. Когда речь заходила о воспитании, он сообщал, что надо прививать сызмала трудолюбие и почтение к старшим; но сам являл пример трудолюбия и – что еще реже – был тем старшим, к которому испытывают почтение собственные дети.

Для англичан такой тип мышления безнадежно скучен. Однако у нас эти трюизмы произносят, как правило, дураки, да еще боящиеся общественного мнения. Дюран же ни в коей мере не был дураком; он много читал и мог защитить свои взгляды по всем канонам позапрошлого века. А уж трусом он не был никак, чужого мнения не страшился и готов был умереть за каждый свой трюизм. Боюсь, мне не удалось описать это чудище моим нетерпимым и эксцентричным согражданам. Скажу проще: мсье Дюран был просто человеком.

Жил он в маленьком домике, обставленном уютной мебелью и украшенном неуютными медальонами в античном вкусе. Правда, холодность этих украшений уравновешивалась другой крайностью – у дочери его висели и стояли в высшей степени дешевые и пестрые изображения святых. За несколько лет до нашего повествования умерла его жена, которую он очень любил, и теперь он возлагал на ее могилу уродливые бело-черные венки. Любил он и дочь, хотя и мучил, непрестанно беспокоясь о ее невинности, что было излишне и потому, что она отличалась исключительной набожностью, и потому, что в селении почти никто не жил.

Мадлен Дюран казалась несколько сонной, и могла бы показаться ленивой, если б не тот неоспоримый факт, что хозяйство она вела одна и шло оно превосходно; Лоб ее, широкий и невысокий, казался еще ниже из-за мягкой челки тепло-золотого оттенка. Лицо ее было достаточно круглым, чтобы не казаться строгим, а яркие большие глаза освещали его и поднимали вверх, словно голубые бабочки. Больше ничего примечательного в ней не было, и от девушек, подобных владелице машины, она отличалась тем, что никто не замечал в ее облике ничего, кроме круглой золотистой головки и простодушного лица.

Как и отец, она не любила привлекать внимания, особенно – того внимания, которое нынешний мир оказывает всему, кроме истины. Оба – и отец, и дочь – были сильны, гораздо сильнее, чем казалось; гораздо сильнее, чем думали о себе сами. Отец верил в цивилизацию – многоэтажную башню, построенную наперекор природе; другими словами, он верил в человека. Дочь верила в Бога, и была еще сильнее. Ни он, ни она не верили в себя, то есть не знали самой большой слабости.

Дочь славилась благочестием. Как все подобные ей люди, она производила сильное, хотя и не всегда приятное впечатление; передать его я могу лишь сравнив ее с водопадом, низвергающимся неизвестно откуда. Она легко вела дом, она была приветлива, она ничего не забывала и никого не обижала. Мы перечислили то, что было в ней мягкого; но осталось твердое. Она твердо ступала по земле; она вызывающе откидывала голову, глаза ее горели боевым огнем, хотя она в жизни не сказала недоброго слова. Люди никак не могли понять, на что же уходит эта молчаливая сила. Наверное, они бы не поверили, узнав, что уходит она в молитву.

Обычай на острове были полуанглийскими, полуфранцузскими, и молодая девушка все же могла иметь поклонников, что во французском селении совершенно исключено. Недавно поклонник



появился и у Мадлен Дюран. Каждый день за ней ходил в церковь чернобородый невысокий человек с черным зонтиком, который придавал ему еще большую респектабельность. Он казался пожилым, но глаза его и походка были молодыми.

Звали его Камилл Берт. На остров он прибыл недели две назад, по торговым делам, и почти сразу стал неотступно ходить следом за Мадлен. Он буквально преследовал ее и каждый день бывал вместе с нею в церкви. В таких маленьких селениях все здороваются; здоровались и они, но вряд ли сказали друг другу хотя бы слово. Мсье Берт казался честным, но не казался набожным; однако он неуклонно посещал церковь. Быть может, потому Мадлен его и заметила. Во всяком случае она дважды улыбнулась ему у входа в храм, и жители селения – все же люди – обратили даже это в сплетню.

Но только дней через пять сплетня эта набрала силу. Неподалеку от селения стояла большая пустая гостиница в столичном вкусе. И вот, к числу ее считанных постояльцев прибавился странный человек, назвавшийся; графом Грегори. Он был молчалив и изысканно вежлив. Говорил он по-английски, по-французски, а однажды (с местным кюре) по латыни. От прочих людей его отличали высокий рост и неправдоподобно желтые усы. Вообще же он был красив, белокур, хотя волосы его казались слишком яркими, и довольно элегантен. В руке он обычно держал тяжелую трость. Однако несмотря на титул, манеры и цвет волос, местные жители не удостоили бы его внимания, если бы не один странный случай.

А случилось вот что: как известно, лишь очень благочестивые люди ходят в церковь еще и по вечерам. Однажды в тепло-голубых сумерках домой возвращались только Мадлен, четыре старушки, один рыбак и неутомимый Камилл. Когда старушки и рыбак растворились в сине-зеленом смешении воздуха и листвы, Мадлен вошла одна в темную рощу. Она не боялась одиночества, ибо не боялась бесов. Скорее, они ее боялись.

Но в роще, на поляне, едва освещенной последним лучом, перед ней появился человек, смахивающий на беса.

Желтоволосый аристократ протягивал к ней длинные руки, странно растопырив пальцы.

– Мы одни! – вскричал он. – Вы были бы в моей власти, не будь я в вашей!

Потом он опустил руки и довольно долго молчал. Мадлен же простодушно сказала:

– Кажется, мсье, я вас где-то видела.

– Я увидел вас, – снова оживился граф, – и жизнь моя изменилась. Знайте, я не ведаю жалости. Я – последний из подлецов. Земли мои простираются от масличных рощ Италии до датских сосновых лесов, и нет в них уголка, который я не осквернил бы. Я великий грешник, но до сих пор я не совершал святотатства и не испытывал благоговения. А теперь...

Он неловко схватил ее за руку; она не закричала, только вырвалась, но кто-то услышал и это, ибо из-за деревьев, словно пушечное ядро, вылетел коренастый человек и ударил графа по щеке. Немного оправившись, Мадлен узнала в нем своего немолодого поклонника с молодыми глазами.

До того, как мсье Берт дал пощечину, Мадлен не сомневалась, что желтоволосый граф просто сошел с ума. Теперь же он удивил ее здравомыслием, ибо сперва ударил Берта, словно выполняя долг, потом отступил на шаг и поклонился.

– Не здесь, мсье, – сказал он. – Выбирайте место сами.

– Я рад, что вы меня поняли, – отвечал Камилл Берт. – И еще я рад, что вы не только подлец, но и джентльмен.

– Мы задерживаем даму, – сказал учтивый граф и поднес руку к голове, словно хотел приподнять несуществующую шляпу. Затем он исчез – точнее, спина его еще была видна какое-то время, и выглядела очень достойно, такой он был аристократ.

– Разрешите проводить вас, мадемуазель, – сказал Берт. – Если не ошибаюсь, вам недалеко.

– Да, недалеко, – ответила Мадлен и улыбнулась ему в третий раз, несмотря на усталость, и страх, и плоть, и мир сей, и дьявола. Синее сияние сумерек сменилось непроницаемой синевою ночи, когда Камилл привел свою даму в освещенный и теплый дом, а сам вернулся во тьму.

Французы и полуфранцузы, населяющие местечко, сочли этот случай достойным поводом для дуэли, и противники легко нашли себе секундантов. Те, кто победней и понабожней, стояли за благочестивого Берта, порочный же и родовитый Грегори обрел соратников в лице местного врача, всегда готового поддержать истинно современных людей, и какого-то туриста из Америки, готового на все, что угодно. Назначили дуэль на послезавтра, и все в селении успокоилось, кроме одного человека, обычно – самого спокойного. Следующим вечером Мадлен Дюран опять пошла в церковь,

и Камилл, как всегда, следовал за ней. Но на сей раз по дороге она обратилась к нему.

– Простите,– сказала она,– я должна с вами поговорить.

И он ощутил дыхание правды, ибо во всех книгах девушка сказала бы: «Я не должна с вами говорить».

– Да, я должна,– продолжала Мадлен, глядя на него большими и серьезными, как у животных, глазами.– Ведь ваша душа, и всякая душа, настолько важнее пересудов! Так вот, я с вами поговорю о том, что вы хотите сделать.

– Я послушался бы вас во всем,– отвечал Берт,– но этого не просите. Даже ради вас я не стану трусом и подлецом.

Она удивленно приоткрыла рот, потом поняла и странно улыбнулась уголками губ.

– Я не про это,– сказала она.– Зачем мне говорить о том, чего я не понимаю? Меня никто не бил, а если бы и били, для женщины это не то, что для мужчины. Конечно, сражаться дурно. Лучше простить – если можешь простить *по-настоящему*. Но когда у нас за обедом кто-нибудь говорит, что дуэль – то же убийство, мне кажется, что это не так. Тут все иначе... и повод есть... и противник знает наперед... и он тоже может убить вас. Я совсем не умна, но я уверена, что такие люди, как вы, не бывают убийцами. Нет, я хотела поговорить о другом.

– Тогда о чем же? – спросил ее собеседник, глядя в землю.

– Завтра месса очень рано,– сказала она.– Так что вы исповедуйтесь и причаститесь с самого утра, не опоздайте.

Берт отступил шага на два, и она не узнала его движений, словно он весь переменялся.

– Быть может,– продолжала она,– вы и правы, рискуя жизнью. Женщины в нашем селении рискуют ею много раз, рожая детей. Мужчины – другая половина мира, и я не знаю, как им положено умирать. Но душой рисковать нельзя.

И при всей своей кротости она взмахнула рукой с той трогательной решительностью, которая может разорвать сердце.

Мсье Берт не был кротким. Но беспомощный жест и молящий взор повлияли на него так, словно, он увидел дракона. Он страшно побледнел (отчего его черные волосы стали особенно неестественными), когда же он обрел дар речи, сказал: «О, Господи!», причем не по-французски и даже, говоря строго, не по-английски. Придерживаясь истины, я должен сообщить, что он сказал это по-шотландски.

– Месса будет очень скоро, через восемь часов,– говорила тем временем Мадлен,– вы успеете. Простите меня, но я очень боялась, как бы вы не опоздали.

– А почему вы думаете,– едва выговорил мсье Берт,– что я вообще хочу пойти к мессе?

– Вы всегда ходите,– отвечала она, и ее голубые глаза широко раскрылись.– Мессу трудно выдержать, если не любишь Бога.

Именно тогда степенный Берт повел себя, как его необузданный соперник. Глаза его загорелись, он шагнул к своей собеседнице и чуть не схватил ее за плечи.

– Да не люблю я вашего Бога! – закричал он.– На что Он мне сдался? Ну вас всех, надоело! Простите... вы самый честный и чистый человек на свете... а я вот – самый подлый.

Мадлен с сомнением посмотрела на него.

– Если вы сами так думаете,– сказала она,– значит, все в порядке. Если вы каетесь, еще лучше. Вы пойдите, скажите священнику, а Бог...

– Плевал я на ваших священников! – не унимался Берт.– А Бог – это просто выдумка, миф, вранье. Правда, не мне судить Его за это...

– Что вы такое говорите? – искренне удивилась Мадлен.

– Я и сам – просто миф,– отвечал Берт, срывая парик и бороду. После этого страшного действия Мадлен увидела гораздо более молодое лицо и рыжие волосы.

– Ну вот,– с облегчением сказал бывший Берт,– я мерзавец, и я хотел сыграть подлую шутку в вашем тихом селении. С любой другой женщиной я бы ее и сыграл, но мне, как на беду, попалась единственная, с которой играть нельзя. Да, угораздило меня, однако... А правда в том,– и он смутился, как смутился Эван, когда решил поведать правду загадочной даме,– правда в том, что я – Тернбулл, атеист, за которым гонится полиция. То есть, не потому, что я атеист, а потому, что я хочу за атеизм сразиться.

– Да, я что-то про вас читала,– сказала Мадлен Дюран с простотой, которую не может поколебать даже такая странная весть.

– Я не верю в Бога,– продолжал Тернбулл.– Его нет. И ваше причастие – не Бог. Это просто кусок хлеба.

– Вы думаете, это кусок хлеба? – переспросила Мадлен.

– Я это знаю! – яростно ответил Тернбулл.

Она откинула голову и широко улыбнулась.

– Тогда почему вы боитесь его съесть? – спросила она.

Джеймс Тернбулл впервые в жизни воспринял чужую мысль, и это так поразило его, что он отступил назад.

– Какие глупые! – смеялась Мадлен весело, как школьница.– Это вы – атеист! Это вы-то богохульник! Господи, да вы себе все испортили, только бы не совершить кощунства!

Рыжая голова Тернбулла очень смешно торчала из чинных и буржуазных одежд Камилла Берта, но его лицо было искажено такой болью, что никто бы не засмеялся.

– Вы приезжаете к нам,– говорила Мадлен с той женской живостью, которая так хороша дома и так неприятна на митингах,– вы с вашим Макиэном едете к нам на остров и надеваете парики, и все идет гладко, а потом вы швыряете парик и бросаете все дело, потому что я попросила вас съесть кусок хлеба! И вы еще говорите, что никто нас не видит! И вы еще говорите, что в алтаре ничего нет. От чего же вы бежите, от Кого? Нет, знаете...

– Я знаю одно,– сказал Тернбулл,– мне надо бежать от вас.

И быстро пошел прочь, оставив на дороге и бороду, и парик.

На рыночной площади он увидел графа Грегори и кинулся к нему. Но он не прошел и полпути, когда открылось окно, и из него высунулась голова в ночном колпаке. Несмотря на этот убор, Тернбулл сразу узнал багровую физиономию сержанта. Сержант в ярости выкрикнул его имя, из-под арки выскочил полицейский и помчался к преступнику. Два торговца овощами, оставив свои корзины, побежали на помощь закону. Тернбулл толкнул полисмена, посадил одного из торговцев в его же корзину и крикнул высокородному противнику: «Бежим, Макиэн!» Граф Грегори сорвал усы и парик и не без облегчения отшвырнул их. Потом он понесся вслед за Тернбуллом, на ходу вынимая из трости спрятанную там шпагу.

Бежать до пристани было довольно долго, но английская полиция неповоротлива, французские селяне равнодушны. Во всяком случае, дорога оказалась пустой, только на пол-пути Макиэн врезался в какого-то джентльмена. Как он узнал, что это именно джентльмен, сказать нелегко. Сам он был очень бедным и очень трезвым джентльменом из Шотландии; этот был богатым и пьяным джентльменом из Англии. Но по взаимным извинениям они поняли друг друга быстро, как двое людей, говорящих в Китае по-французски. Джентльмена проще всего описать так: он или оскорбляет, или просит прощения. В данном случае никто никого не оскорбил.

– Спешите, а? – спросил незнакомец и чему-то сердечно рассмеялся.– А я вот Уилкинсон. Да, внук того Уилкинсона, который пиво! Сам пиво не пью. Печень.– И он покачал головой с неподходящей к случаю хитростью.

– Да, спешим,– отвечал Макиэн, улыбаясь по-возможности учтиво,– так что простите...

– Вот что, милстигспда,– доверительно сказал незнакомец, когда Эван уже слышал топот полисменов,– если вы спешите, а я-то знаю, что такое спешка... да, кто-кто, а я знаю... так вот. если вы спешите,– тон его стал торжественным,– вам нужна яхта!

– Конечно,– отвечал Макиэн, в отчаянии вырываясь от него. На холме показался первый полицейский. Тернбулл проскочил под локтем у пьяного и побежал дальше.

– Нет, посудите сами,– продолжал Уилкинсон, цепко хватая Макиэна за рукав.– Если спешишь, нужна...ик... яхта... а если нужна яхта, берите мою,– закончил он с пьяной рассудительностью.

Эван посмотрел на него в удивлении.

– Да, мы очень спешим,– сказал он,– и яхта нам очень нужна.

– Стоит у пристани,– с трудом выговорил Уилкинсон.– Слева... Называется «Красотка Полли»... никак не пойму, почему я вам раньше ее не дал...

С этими милостивыми словами он упал ничком, мягко смеясь. Решив в ускоренном темпе несколько казуистических проблем, Эван принял решение (быть может, неверное), и через две минуты, догнав Тернбулла, все ему рассказал, а через десять минут оба они как-то влезли на яхту и как-то отплыли от острова Сэн-Луп.

## Глава XII НЕВЕДОМЫЙ ОСТРОВ

Те, кто считает, что добрые феи или Бог вели наших героев сквозь нелепые опасности (например, мистер Эван Макиэн, который сейчас жив и счастлив), могут найти один из лучших доводов в истории с яхтой. Ни атеист, ни рыцарь веры никогда яхтами не правили, но Макиэн плавал в лодке по морю, а Тернбулл, что много хуже, знал начала навигации. Вмешательство феи или Бога явствует хотя бы из того, что они ни разу ни во что не врезались. Кроме этого, все же отрицательного утверждения, об их плавании трудно сказать что-нибудь определенное. Плыли они недели две, и Макиэн считал, что путь их лежит на запад. Сколько они проплыли, установить не удавалось, но оба думали, что немало и находятся теперь в открытом океане. Поэтому оба они удивились, когда пасмурным утром перед ними показался пустынный остров – точнее, пятно на серебряной черте, отделяющей серо-зеленое море от розовато-серого неба.

– Что бы это могло быть? – спросил Макиэн. – Я не знал, что в Атлантическом океане есть острова так далеко за Силли. Господи, неужели мы доплыли до Мадеры?

– Скорее, до Атлантиды, – угрюмо откликнулся Тернбулл. – Как раз в вашем вкусе...

– Да, может быть, – серьезно отвечал Макиэн, – но мне всегда казалось, что предание об Атлантиде недостаточно обосновано.

– Но, что бы это ни было, – сказал Тернбулл, – о скалы мы разобьемся.

Тем временем пустынный мыс становился все длиннее и длиннее, словно на яхту наступал огромный слон. Однако вместо скал взору являлись бесчисленные ракушки, а в одном месте – чистый песок, достаточно безопасный даже для таких неученых мореплавателей. Они кое-как загнали яхту в бухточку, причем задом, так что корма вонзилась в песок, а нос торчал вверх, словно гордясь своей дурацкой удачей. Они вылезли и принялись разгружать судно с торжественностью школьников, играющих в пиратов. Рядами ставили они ящики сигар, принадлежавших милостивому Уилкинсону, и бутылки его шампанского, и коробки его консервов (сардин, языка и лососины), и многое другое. Наконец Макиэн застыл с банкой пикулей в руке и промолвил:

– Не пойму, зачем нам все это. Тому, кто останется в живых, вряд ли будет до деликатесов.

– Разрешите мне две вольности, – сказал Тернбулл. – Во-первых, я закурю (это поможет мне думать), а во-вторых, я позволю себе угадать, о чем вы думаете.

– А, что? – спросил Макиэн с той самой интонацией, с какой нас переспрашивает невнимательный ребенок.

– Я знаю, о чем вы думаете, Макиэн, – повторил Тернбулл. – О том же самом, что и я.

– О чем же вы думаете? – спросил Эван.

– О том же, о чем и вы. Ну, хорошо: о том, что жалко оставлять столько шампанского.

Призрак улыбки скользнул по серьезному лицу кельта, но он не ответил: «Нет, что вы», и не покачал головой.

– Мы все выпьем и выкурим примерно за неделю, – сказал Тернбулл. – Устроим себе заранее погребальный пир.

– И вот еще что, – не сразу ответил Макиэн. – Мы на неведомом острове, далеко в океане. Полиция не найдет нас, но и люди о нас не услышат. – Он помолчал, чертя по песку шпагой, – Она не услышит о нас.

– Что же вы предлагаете? – спросил редактор, дымя сигарой.

– Мы должны подробнее описать все, что с нами было и будет, а главное – изложить наши мнения. Один экземпляр оставим здесь, на всякий случай, другой положим в бутылку. и бросим в море, как в книге.

– Прекрасная мысль, – сказал Тернбулл. – А теперь – за дело.

Долговязый Макиэн расхаживал по кромке песка, и торжественная поэзия, которой он жил, разрывала на части его душу. Неведомый остров и бескрайнее море воплощали его мечту об эпосе. Здесь не было ни дам, ни полицейских, и потому он не видел в нынешней ситуации ничего страшного и ничего смешного.

– Должно быть, сотворяя звезды на заре мира, – говорил он, – Господь породил этот остров, чтобы на нем свершилась битва между верой и небытием.

Потом он нашел площадку повыше и тщательно расчистил ее от песка.

– Здесь мы сразимся, – сказал он, – когда придет время. До той поры это место священо.

– А я думал тут закусить,– сказал Тернбулл, державший в руке бутылку.

– Только не здесь! – сказал Макиэн и быстро спустился к воде. Правда, прежде этого он вонзил в землю обе шпаги.

Закусили они в самой бухточке и там же поужинали. Дым Уилкинсоновых сигар языческой жертвой вздымался к небу; золото Уилкинсонова вина порождало причудливые мечты и философские споры. Время от времени друзья глядели вверх, на шпаги, охранявшие поле битвы и похожие на два черных кладбищенских креста.

Достойное Гомера перемирие длилось не меньше недели. Шотландцы ели, пили, спорили, иногда и пели. Отчет они написали обстоятельный и засунули его в бутылку. Остров они не исследовали, ибо свободное от вышеупомянутых занятий время Макиэн отдавал молитве, Тернбулл – табаку. Однажды, в золотой предвечерний час, Тернбулл допил последнюю каплю, швырнул бутылку в золотые волны, подобные кудрям Аполлона, и решительно направился к шпагам, дожидавшимся своих хозяев. Поднявшись за ним следом, Макиэн стоял, глядя в землю. Но предприимчивый и любопытный редактор, поднявшись на площадку, огляделся – и это повлекло за собой немаловажные последствия.

– Вот это да! – воскликнул он в изумлении,– Мы не на острове. Наверное, мы добрались до самой Америки.

Огляделся и Макиэн, и лицо его стало еще бледнее. Он тоже увидел длинную полосу земли, протянувшуюся от какой-то суши, и ему показалось, что это рука, готовая схватить их.

– Как знаете, Макиэн,– сказал Тернбулл со свойственной ему разумной неторопливостью,– мне не хотелось бы умирать, погибая от любопытства. Узнаем-ка, где мы, а?

– Жалко откладывать поединок,– отвечал Макиэн со свойственной ему тяжеловесной простотой,– но я думаю, что это знамение, если не чудо. Быть может, Сам Господь проложил мост над морем.

– Если вы согласны,– засмеялся Тернбулл,– причина |мне не важна.

И они решительно двинулись по узкому перешейку. Минут через двадцать долговязый Макиэн перегнал Тернбулла, и приверженный науке редактор еще сильнее ощутил себя Робинзоном. Он шел, старательно высматривая признаки жизни (позже он признавался своей благочестивой жене, что думал увидеть аллигатора).

Однако первое же живое существо, представшее перед ним, было не аллигатором, но Макиэном, который бежал во весь опор, по привычке сжимая в руке шпагу.

– Осторожно, Джеймс! – крикнул он.– Я видел дикаря.

– Какого дикаря? – спросил Тернбулл.

– Кажется, негра,– отвечал Макиэн.– Там, за холмом.

– Милостивый! – вскричал Тернбулл, неизвестно к кому взывая.– Неужели мы на Ямайке?!

Он запустил руки в рыжие лохмы, и лицо у него было такое, словно он отказывается постичь столь плохо составленную загадку, как мир. Потом, не без подозрительности взглянув на Макиэна, он проговорил:

– Не обижайтесь, но вы немножко... как бы это сказать... мечтательны... и потом, мы немало пили... Подождите-ка, я схожу сам, погляжу.

– Если что, зовите на помощь,– отвечал Макиэн. Прошло пять минут, даже семь; Макиэн, закусив губу, сильнее сжал шпагу, подождал еще и, крикнув что-то по-гэльски, кинулся на выручку своему противнику в тот самый миг, когда тот появился на холме.

Даже на таком расстоянии было видно, что идет он странно – настолько странно, что Макиэн все же двинулся ему навстречу. То ли он был ранен, то ли заболел, но его шатало из стороны в сторону. Только с трех футов противник его и друг разглядел, что шатается он от смеха.

– Да,– едва выговорил развеселившийся редактор.– Это негр.– И снова стал извиваться.

– Что с вами? – нетерпеливо выговорил Макиэн.– Вы видели негра, это я понял, но что ж тут смешного?

– Понимаете, – сказал Тернбулл, внезапно обретая серьезность,–понимаете, он из джаза, а джаз этот играет на небезызвестном курорте под названием Маргэйт. Хотел бы я видеть на карте, как мы плыли...

Макиэн не улыбнулся.

– Значит...– сказал он.

– Да, значит мы в Англии,– сказал Тернбулл,– и это еще не самое смешное. Благородный

дикарь сообщил мне, что бутылку нашу выловили вчера в присутствии олдермена, трех полицейских, семи врачей и ста тридцати отдыхающих на море клерков. Успех у нас невиданный. Знаете, мы с вами как на качелях – то храм, то балаган. Что ж, позабудимся балаганом...

Макиэн молчал, и через минуту Тернбулл проговорил другим тоном:

– М-да, тут не позабавишься...

Из-за холма, мягко и важно, как поезд, выходил полицейский.

## Часть четвертая

### Глава XIII ОБИТЕЛЬ ОТДОХНОВЕНИЯ

До этой минуты Эван Макиэн ничего толком не понял; увидев полисмена, он понял все. Перед ним был враг, перед ним была сила мира сего. И он мгновенно обратился из статуи в быстроногого жителя гор.

– Бежим! – крикнул он, и понесся прямо туда, где песок был поглубже. Когда полисмен завершил свой плавный выход, он увидел между собой и жертвой небольшую осыпавшуюся дюну. Завязнув дважды, свалившись трижды и одолев ее с четвертого раза, он обнаружил, что беглецы уже довольно далеко. Бежать им было тоже не очень удобно – и по песку, и по какой-то трясине, и сквозь густую осоку. Положение осложнялось тем, что бутылка, брошенная ими в море, подняла полицию всего графства.

Чуть подалее от моря они то и дело замечали синюю фигуру; и только тогда, когда Макиэн вломился в лес, как вламываются в дом, преследователи мигом исчезли, словно их и не было.

Рискуя запутаться, как муха, в черной паутине стволов и сучьев, Эван, наделенный чутьем охотника и зверя, пошел прямо через лес и довольно скоро вышел на опушку, где полицейских не было. Вдоль этой опушки беглецы прошли мили две; потом Макиэн прислушался, как лесной зверь, и сказал: «Они наш след потеряли», а Тернбулл спросил: «Куда мы теперь пойдём?» Макиэн посмотрел на серебристое небо, перерезанное длинными алыми облаками, и на верхушки деревьев, ловивших последний луч, и на птиц, возвращавшихся в гнезда, словно это были понятные ему письма. Потом ОН сказал:

– Мы пойдём спать. Если нам удастся заснуть в этом лесу, мы выиграем завтра ярдов двести.

Развеселившийся Тернбулл отвечал, что спать не хочет, и бодро пошел дальше. То, что он говорил, было поистине блестяще, но речь его оборвалась сразу, и он заснул прямо на жесткой земле. И правильно сделал, ибо другой беглец разбудил его на заре.

– Больше спать нельзя, – покорно, почти виновато сказал Эван, – Они пробежали гораздо дальше нас, но поняли свою ошибку и теперь возвращаются.

– Вы уверены? – спросил Тернбулл, протирая глаза.

Но тут же вскочил, словно его окатили ледяной водой, и кинулся в чащу за Макиэном. На жемчужно-розовом небе появилась знакомая фигура. Полицейские очень смешно выглядят на фоне зари.

Утренний свет устало занимался над землею, и белый туман, похожий на белую шерсть, сплошь забил поля. Пустынная дорога, на которую бегство загнало наших героев, шла мимо высокой стены, ограждавшей большое поместье. Точнее говоря, Макиэн и Тернбулл бежали не по дороге, а между стеной и рядом деревьев, как бы по туннелю аллеи, где сумрак, туман и движущиеся тени скрывали их от преследователей. Бежали они бесшумно, ибо еще в лесу разулись, а шпаги не звенели, так как они повесили их на спину, словно гитары.

В полтора ярда от них, тяжело отдуваясь и пытаясь, на дорогу выбежал самый быстроногий из полицейских. Для своего веса бежал он мастерски, но, как всегда бывает, когда быстро движется тяжелое тело, казалось, что ему легче бежать, чем остановиться. Ничто, кроме каменной преграды, не остановило бы его. Тернбулл, как он ни задыхался, что-то сказал Макиэну. Макиэн кивнул.

Добежав до места, где три дерева росли почти рядом, полисмен не замедлил бега и помчался дальше, но преследовал он только ветер или собственную тень, ибо Тернбулл взлетел, словно кошка, на одно из этих деревьев. За ним

– не так ловко, но вполне успешно – влез на вершину и длинноногий горец; и сквозь облако

листвы они увидели, как исчезают полицейские в дымке тумана, пыли и дали.

Белый туман лежал слоями, и макушка дерева едва возвышалась над ним, словно зеленый корабль, разрезающий пену. Еще повыше, совсем на свету, был верх стены, манившей их, как ограда земного рая. Теперь легче было Макиэну

– не такой легкий и юркий, как Тернбулл, он был зато сильнее и выше. В мгновение ока он ухватился за стену, образуя перекладину; еще мгновение – и он сидел на стене верхом. Потом он помог перебраться Тернбуллу, и оба они, чтобы было вернее, медленно поползли назад, туда, откуда бежали. Макиэну казалось, что он сидит в седле. Стена тянулась перед ним серой шеей Россинанта, и он вспомнил щит храмовников, где два рыцаря сидят на одном коне.

Ощущение странного сна усиливалось от того, что белый туман за стеною был гуще, чем снаружи. Беглецы не видели внизу ничего, кроме искривленных ветвей, подобных щупальцам зеленого спрута. Однако все годилось им, лишь бы убежать от погони – и они, как по лестнице, спустились по этим ветвям. Когда они прыгнули с самой нижней, их разутые ноги ощутили неровную твердость гравия.

Макиэн и Тернбулл стояли на широкой дорожке. Белый туман был здесь не гуще белого тюля, и сквозь него сверкали загадочные предметы, которые могли оказаться и утренними облаками, и ало-золотой мозаикой, и дамами в изумрудных и яхонтовых платьях. Когда туман стал еще прозрачней, беглецы увидели, что это просто цветы, но такие пышные и яркие, какие бывают только в тропиках. Пунцовые и пурпурные георгины гордо, как геральдические звери, рдели на изжелта-зеленом фоне. Алые розы казались раскаленными докрасна, белые – раскаленными добела. Даже рядом с яростной синевою лобелий белый цвет был самым насыщенным и ярким. Золотые лучи понемногу разгоняли дымку тумана, и это было так прекрасно, словно медленно открывались райские врата. Привычный к таким сравнениям Макиэн что-то сказал, но Тернбулл ответил, что они попали в сад к миллионеру.

Последний клочок тумана исчез, открывая взору пламенеющие клумбы, и шотландцы с удивлением увидели, что они не одни. По самой середине самой широкой дорожки шел человек, явно наслаждавшийся ранней прогулкой. Голубое облачко дыма клубилось перед ним, он был худощав, светло-серый его костюм отличала небрежная безупречность. Лицо его, слишком тонкое, казалось старым, хотя волосы и усы еще не совсем побелели. Он улыбался невыносимо-довольной улыбкой; поношенная шляпа не вязалась ни с его обликом, ни с костюмом, словно он надел ее случайно.

Наверное, только такая большая тень, которую отбрасывал Макиэн, могла пробудить его от самодовольной полудремы. Он поднял голову, милостиво поморгал близорукими глазами, но не особенно удивился. Без сомнения, он был джентльменом, то есть умел достойно держаться и с другом, и с наглецом.

– Чем могу служить? – спросил он не сразу.

Макиэн слегка поклонился.

– Простите нас, сэр, – сказал он, ибо тоже был истинным джентльменом, более того – джентльменом неимущим, – простите нам невольное вторжение. Мы перелезли через ограду. Ведь это ваш сад?

– Да, конечно, – отвечал старик, опять не сразу (он минуту-другую глядел в землю и курил).

– У вас большое поместье, – сказал Тернбулл.

– Да, – ответил старик, – очень большое.

Глаза мятежника сверкнули, но Макиэн учтиво сказал:

– Конечно, вы понимаете, что бывают частные... да, именно частные дела, о которых никто не должен знать до поры до времени.

Землевладелец улыбнулся еще приветливей, и ободренный Макиэн продолжал:

– Мы с моим... другом должны драться на дуэли. Полиция нам мешает, но в вашем саду...

Землевладелец улыбнулся снова и спросил:

– Из-за чего же вы деретесь?

Макиэн твердо верил, что аристократ понимает законы чести. Однако он не знал, поймет ли тот, что можно сразиться из-за веры. Из-за карт, из-за дамы, из-за многих вещей, – но из-за того, что Деву Марию сравнили с вавилонской блудницей... Да, этого он может и не понять. Даже уроженец гор, не отличавшийся светским лоском, догадался, что кое-что объяснить придется.

– Мы сражаемся из-за Бога... – начал он.

– Из-за Бога! – почти пронзительно вскрикнул землевладелец.

– Давайте я объясню,– вмешался Тернбулл.– Я считаю, что Бога нет, и на том стою. Мистер Макиэн – вот он – считает, что Бог есть. Поэтому он разбил мое окно, и вызвал меня на дуэль. Полиция почему-то не разрешает нам драться. Мы от нее бежим, и вот влезли к вам. Надеюсь, вы нас не прогоните?

Пока он говорил, старый аристократ становился все пунцовой, но улыбался по-прежнему; когда же он кончил свою речь, тот странно хихикнул.

– Значит, из-за Бога хотите драться? – переспросил он.– У меня в саду?

– А что тут такого? – сказал Макиэн, не утративший по его пору своей чудовищной простоты.– Человек в саду узнал Бога.

– И верить в Него перестал в саду,– прибавил Тернбулл.– В зоологическом.

– У меня?.. При мне?..– выкрикивал землевладелец, перемежая выкрики смехом.– Из-за того, есть ли Бог! – И он отер глаза, насмеявшись вдоволь.

– Да, тесен мир! – вскричал он напоследок.– Драться не стоит, сейчас все уладим. Видите ли, я – Бог.– Он подпрыгнул, странно брыкая элегантно обутыми ногами.

– Простите, кто вы? – спросил Тернбулл голосом, который описывать не мне.

– Да Бог же! – радостно отвечал Вседержитель.– Нет, подумайте, перелезли через стену и угодили прямо ко мне! Повезло, что называется!.. Ходили бы по церквам, по ученым... И что же там? Слова. А Бог – вот он, перед вами. Рад служить.– И милостивый Творец поднял одну ногу, приветливо глядя на пришельцев.

– Насколько я понял, этот сад...– начал ошарашенный Макиэн.

– Ну как же! – снова оживился старик.– Как же, он мой, и та земля моя, и вообще все. И море, и небо, и луна, и что там еще есть,– он виновато улыбнулся.– Ничего не попишешь, *Бог* !

Вглядевшись в него, Тернбулл увидел в его смеющихся глазах знаменательную и страшную серьезность. Тогда здравомыслящий редактор внимательно оглядел дорожки, веселые клумбы, длинный дом, который не был виден прежде. Потом он посмотрел на Макиэна.

Примерно в тот же миг на широкой тропинке появился еще один человек. Походил он на преуспевающего дельца, был достаточно толст, чтобы от его пиджака отлетели пуговицы, и шляпу носил хорошую – но говорил на ходу сам с собой, и один его локоть странно торчал в сторону.

## Глава XIV КУНСТКАМЕРА СТРАЖДУЩИХ ДУШ

Человек в хорошей шляпе, странно выставив локоть, быстро шел по дорожке; но человек в плохой шляпе успел его перехватить. Чтобы это сделать, он перескочил через ярко-оранжевую клумбу.

– Простите, ваше величество,– с язвительной учтивостью сказал второй человек,– не могли бы вы помочь нам?

Подводя незнакомца к нашим героям, он быстро шепнул Макиэну: «Не в себе, бедняга!.. Думает, что он – король».

Делец достойно и тихо стоял на газоне и, хотя рука его дергалась, был на высоте положения.

– Эти джентльмены хотят драться на шпагах,– сказал человек в плохой шляпе,– и мы с вами будем у них секундантами. Вы – хи-хи – король, я – Бог. Поистине, лучше не найдешь.

Тернбулл угрюмо помахивал шпагой, глядя на эту сцену, но тут бесшумнее кошки к нему подкрался новоприбывший и залепетал:

– Не верьте! Он не в себе, но очень хитер. Он вам скажет, что я его ненавижу, но вы не верьте. Я все слышал, когда он говорил с почтальоном. Долго рассказывать, да и опасно, но вы...

Тернбуллу стало так плохо, что он чуть не упал. Что-то возмутилось в нем – то был здоровый языческий страх перед нечистотою, нечеловечески сильная ненависть к утрате человеческого облика. Ему казалось, что сад наполнен шепотом и каждый лист сообщает другому о мнимом злодеянии или несуществующей тайне. Все разумное, все простое и человеческое в нем восстало в этот миг против тьмы; и он сказал Макиэну: «Нет, не могу!»

– Чего вы не можете? – спросил тот, раздражаясь все больше и больше.

– Выдержать... как бы это назвать понятнее?.. ну, скажем, атмосферу,– отвечал поборник



материализма.– Нельзя обижать и божество, но понимаете, я не хотел бы такого секунданта.

– Простите! – с обидой, но и с достоинством сказал первый безумец.– От моих милостей не отказываются. Вы понимаете, кто я такой?

– Понимаю! – вскричал редактор «Атеиста».– Вот вы мне скажите, почему у нас два ряда зубов?

– Зубов? – удивленно переспросил больной, поднося руку ко рту.

– Да! – кричал Тернбулл, размахивая перед ним руками.– И почему они болят? Почему больно рожать? Почему прилипчива корь? Почему розы колются? Почему у носорога есть рог, а у меня нет? – И он погрозил пальцем создателю.– Давно собираюсь спросить вас, почему этот мир так ' нелеп и жесток! Из сотни семян прорастает одно, из миллиона миров лишь на одном есть жизнь. Что это вы, а?

Несчастный старик отступил назад, держа перед собой неверный щит сигареты. Наконец он провел левой рукой по морщинистому лбу и ответил разумней, чем можно было ожидать:

– Что ж, если я вам неприятен, я могу быть секундантом вашего противника...

– Мой противник очень любит всякую власть,– отвечал Тернбулл.– Он почитает тех, кто увенчан алмазной или звездной короной. Я же не признаю божественного права ни за королем, ни за Богом. Второй секундант годится ему – но не мне.

Макиэн молчал и о чем-то думал. Потом, резко обернувшись к больному в хорошей шляпе, он спросил:

– Кто вы такой?

– Ваш король! – с обидой и вызовом ответил тот.– Эдуард VI... нет... мм... Георг V. Вы что, не верите мне, не верите?

– Почему же, верю,– отвечал Макиэн.– Все может быть.

– Тогда,– спросил самодержец,– почему вы не сняли шляпу?

– А зачем мне ее снимать перед узурпатором? – в свою очередь спросил Макиэн.

– Я думал, вы – монархист,– удивился Тернбулл.– Так сказать, верноподданный.

– Я верен законному королю,– ответил Макиэн.– Я верен Стюарту. А вам,– вскричал он, грозно помахивая рукой,– вам, чужеземцам, нечего здесь делать! Не вам решать спор английских, шотландских и ирландских лордов! Что вы принесли нам? – вопрошал он, отесняя потомка германских принцев к пламенеющим клумбам.– Варварскую муштру вместо дворянской отваги? Туман метафизики, сквозь который не видно Бога? Плохие картины, плохие манеры, дурацкие здания? Если вы – нынешний король, возвращайтесь к себе, мы вас не держим.

Задолго до конца этой речи монарх потерял свой апломб и к последним ее словам рысцей бежал по дорожке. Увлечшийся якобит погнался за ним. Тернбулл согнулся от хохота, первый безумец выпрямился от мстительного торжества. В это время с другой стороны к ним подошел еще один человек.

Бородка его торчала вперед, очки сверкали, сверкали и зубы – он улыбался непрестанно, и трудно было понять, улыбка это или усмешка. Однако вид у него был печальный.

– А не позавтракать ли нам? – ласково спросил он.– С утра надо поесть... вредно голодать с утра...

– Вполне с вами согласен,– сказал Тернбулл.

– Кажется, мы немного поссорились? – спросил человек со светлой бородкой.

– Долго рассказывать,– улыбнулся Тернбулл.– Если говорить кратко, вы застали одну из фаз спора между наукой и религией. Я представляю науку.

– Искренне рад,– сказал незнакомец.– Разрешите представиться: доктор Квейл.

Тернбулл глядел на него, но видел краем глаза, что первый безумец, утратив былую спесь, стоит в стороне и лицо его искажают ненависть и страх.

Макиэн печально сидел на пне, охватив загорелыми руками темноволосую голову, когда к нему подошел Тернбулл. Он не поднял глаз, но друг его и враг заговорил с ним, словно должен был излить наконец свои чувства.

– Теперь вы видите,– начал редактор,– до чего довели этого беднягу ваши псалмы, попы и догмы. Я уже встретил пять человек, целых пять, которые считают себя Богом. Протоплазмой никто себя не считает.

– Стоит ли из-за нее сходить с ума? – устало отвечал Макиэн.

– А начал это ваш Христос! – продолжал Тернбулл.– Это Он первый возомнил себя Богом.

Глаза Макиэна сверкнули, он усмехнулся и сказал:

– Нет, первый возомнил себя Богом сатана.

– Какая же между ними разница? – спросил Тернбулл, срывая цветок.

– Очень простая, – отвечал Макиэн. – Христос сошел в ад, сатану туда свергли.

– Не все ли одно? – спросил атеист.

– Нет, – отвечал его собеседник, – Сатана хотел возвыситься и пал. Христос умалил Себя – и вознесся во славе. Бог может быть смиренным, дьявол – только униженным.

– Почему вы так не любите благородную гордость? – спросил Тернбулл. – Почему вечно требуете от людей смирения?

– Почему вы обидели бедного бога часа два назад? – спросил Макиэн. – Почему хотели смирить его?

– Он обнаглел донельзя! – отвечал Тернбулл.

– Нет, он еще ничего, – сказал Макиэн. – Это мы обнаглели, хотя и знаем, что мы – только люди. Человек ведет себя как Вседержитель, зная, что он – не Бог. Он хочет, чтобы все служило ему, не имея на то права.

– Ну, ладно, – сказал Тернбулл. – Я говорю о другом: вера приводит в такое вот место, а наука – нет.

– Разве? – спросил Макиэн. – Несколько больных помешались на Боге, несколько – на Библии, а почти все прочие – на самом безумии.

– Вы так думаете? – удивился Тернбулл.

– Думаю, – отвечал Макиэн, – больше того, знаю. Начитались ученых книг, наслушались басен о наследственности и комплексах. Да весь воздух, которым здесь дышат, насыщен психиатрией! Я говорил сейчас с одним больным. Господи, во что он верит! Он говорит, что Бог есть, но что сам он – лучше Бога. Он говорит, что жену человеку должен выбирать врач, а родители не вправе растить своих детей, так как они к ним пристрастятся.

– Да, вам попался тяжелый случай, – признал Тернбулл. – Видимо, можно помешаться и от науки, как от любви и от других хороших вещей. Интересно бы поглядеть на этого больного...

– Пожалуйста, я покажу, – сказал Макиэн. – Вон он, у настурций.

И Макиэн указал на человека с неподвижной улыбкой и легкой светлой бородкой. Тернбулл надолго окаменел.

– Ну вы и кретин! – выговорил он наконец. – Это не больной, это доктор.

– Доктор? – переспросил Макиэн.

– Врач, эскулап, медик, – нетерпеливо объяснил Тернбулл. – Он здесь работает. Я тоже с ним говорил. От него многое зависит, будьте осторожны.

– Так мы же нормальны! – сказал Макиэн.

– Еще бы! – вскричал Тернбулл. – Если нас осмотрят, нас признают здоровыми

– и немедленно переправят в тюрьму. Нужно их запутать, иначе нас выведут на чистую воду за полчаса.

Макиэн угрюмо глядел на траву; потом проговорил не своим, каким-то невзрослым голосом:

– Джеймс, я очень глуп, будьте со мной терпеливы.

Доктор как раз приближался к ним, выжидающее улыбаясь.

– Надеюсь, не помешал, – сказал он. – Кажется, вы хотели побеседовать со мной. – Он кивнул Тернбуллу. – Что ж, прошу в мой кабинет.

И он провел их в небольшой, но красивый кабинет, обставленный сверкающей мебелью. Всю стену занимали полированные книжные шкафы, в которых стояли не книги, а какие-то ящички.

Доктор с вежливым нетерпением уселся в кресло. Тернбулл опустил на стул, Макиэн стоял.

– Неудобно отнимать у вас время, – начал редактор. – Такое дурацкое происшествие... видите ли, мы с друзьями играли в охоту. Мы двое изображали зайцев и, увидев такую стену... сами понимаете...

Тернбулл думал, что врач поинтересуется, почему они играли в такую нелепую игру, и быстро придумывал ответ – но медик молчал и улыбался.

– В общем, – растерянно продолжал он, – это досадная случайность. Поверьте, мы не собирались врываться в ваше заведение...

– Я верю, – улыбаясь отвечал доктор. – Я верю всему, что вы скажете.

– Что ж, тогда не будем вам мешать, – сказал Тернбулл, вставая. – Надеюсь, кто-нибудь

выпустит нас отсюда?

– Нет,– сказал врач все с той же улыбкой.– Никто вас не выпустит.

– Значит, мы выйдем сами? – не без удивления спросил Тернбулл.

– Конечно, нет,– отвечал служитель науки.– Опасно оставлять ворота открытыми в таком месте, как наше.

– Как же нам отсюда выйти? – крикнул Тернбулл, впервые за эти часы теряя осторожность.

– Это зависит от вашего лечения и от вашего благоразумия,– равнодушно сказал врач.– На мой взгляд, ни одного из вас нельзя признать неизлечимым.

Сын мира онемел от удивления и, как всегда в подобных случаях, на арену вышел тот, кто не от мира сего.

– Простите,– сказал Макиэн,– мы не сумасшедшие.

– Мы не употребляем таких терминов,– сказал доктор, улыбаясь своим башмакам.

– Да вы же нас не знаете! – вскричал Макиэн.

– Мы вас очень хорошо знаем,– отвечал врач.

– Где же доказательства? – вопрошал кельт.– У вас нет ни бумаг, ни свидетельств...

Доктор медленно встал.

– Да,– сказал он,– надо бы показать вам бумаги...

Он подошел к полке и взял один из ящичков, вплотную заполненный карточками. Первые три слова на первой из них были написаны так крупно, что наши герои их прочитали. То были слова: «Макиэн Эван Стюарт».

Когда врач поставил ящичек на стол, Эван склонил над ним гневное лицо: но даже его орлиный взор изменил ему, и он с трудом разобрал:

«Наследственное предрасположение к навязчивым идеям. Дед верил в возвращение Стюартов. Мать хранила косточку т. н. святой Евлалии и касалась ею больных детей. Ярко выраженное религиозное помешательство...» Эван долго молчал, потом промолвил:

– О, если бы мир, который я исходил за этот месяц, был так нормален, как моя мать!

Потом он сжал голову руками, словно хотел раздавить ее; и через несколько минут явил присутствующим молодое, спокойное лицо, словно омытое святой водой.

– Хорошо,– сказал он,– я заплачу за то, что радуюсь Богу в мире, который не способен радоваться ни человеку, ни зверю. Да, я – маньяк, я – мистик. Но *он-то* здоров! Слава Богу, его вам обвинить не в чем. Никто из его предков не умирал за Стюартов. Я готов поклясться, что у его матери не было реликвий. Выпустите моего друга, а что до меня...

Врач, все это время близоруко вглядывавшийся в полки, вынул другой ящичек, и другой из наших героев увидел слова:

«Тернбулл Джеймс». Дальше было написано примерно следующее:

«Редкий случай элевтеромании. Как обычно при этой болезни, родители совершенно здоровы. Первые признаки помешательства выразились в интересе к учению социалистов. Позже наблюдались приступы полной анархии...» Тернбулл оттолкнул ящичек, едва не сбросив его на пол, и горько засмеялся.

– Пошли, Макиэн,– сказал он.– Чем нам плохо в саду? Только бы уйти из этой комнаты.

Выйдя в прохладный, зеленый сад он прибавил:

– Теперь я понял самое главное.

– Что же именно? – спросил Эван.

– Выйти отсюда нельзя,– сказал редактор,– но мы легко вошли. Никто не охранял то место, где мы перелезли через стену. Это была ловушка. Двух знаменитых безумцев загнали в сумасшедший дом. Обратного нас не выпустят.

Эван серьезно поглядел на ограду больницы и молча кивнул.

## Глава XV СОН МАКИЭНА

Служка в сумасшедшем доме была так идеально налажена, что больные жили как бы и без надзора. Они могли подойти к стене, которую никто не охранял, и думать о том, как легко им уйти. Ошибку свою они обнаруживали лишь тогда, когда и впрямь решались бежать.

На этой оскорбительной свободе, в этом мнимом уединении Эван Макиэн часто гулял по саду, когда смеркалось, и особенно часто – в лунные вечера. Луна манила его. Конечно, Аполлон так же прекрасен, как Диана, но дело было не в красоте, а в нетленном воспоминании детства. Солнце поистине невидимо – его нельзя увидеть телесным оком. Луна много доступней, и потому, должно быть, много понятней детям. Она висит в небесах неведомо зачем, серебряная, крепкая, плотная, словно вечный снежок. Именно эти воспоминания (или фантазии) влекли плененного Эвана в залитый луною сад.

Однажды, когда он бродил в обесцвеченном саду, где самыми яркими были в тот час мягкая тьма небес и бледная желтизна луны, – тогда он бродил, глядя вверх с тем странным видом, который оправдывал отчасти ошибку его стражей, он увидел, что к нему летит что-то маленькое и блестящее, словно осколок луны. Сперва он подумал, что это – обман зрения, поморгал и протер глаза. Потом он решил, что это – падающая звезда, но она не падала. Она летела плавно, как не летают метеоры, но летают творения рук человеческих. Тут она оказалась на фоне луны и стала не серебряной на синем, а черной на серебре. И Макиэн понял, что это – аэроплан.

Описав красивую дугу, небесный корабль спустился вниз и остановился над газоном, сверкая, словно доспехи сэра Галахада. Сравнение это вполне уместно, ибо тот, кто сидел в нем, был весь в белом, и голову его венчали не то ослепительно-седые, не то очень светлые волосы. Сидел он неподвижно, и Макиэн принял бы его за изваяние, если бы он не заговорил.

– Эван Макиэн, – сказал он властно, как отец, давно не видевший сына, – твой меч нужен не здесь.

– Кому и чему он нужен? – спросил Эван, почему-то не удивляясь.

– Тому, что тебе дорого, – отвечал незнакомец. – Престолу, порядку и преданию.

Эван снова взглянул на луну, но лик ее был бессмысленным, как его лицо, – природа не поможет против сверхъестественного. И он взглянул на незнакомца.

– Кто вы? – спросил он, и сразу же испугался, что на вопрос его ответят. Но незнакомец долго молчал, потом промолвил:

– Я не могу сказать, *кто я*, пока стоит мир. Но я скажу, *что я*: Я – закон.

Он поднял голову, и луна осветила его лицо. То было лицо греческого бога, безупречно-правильное, если бы не слишком длинный раздвоенный подбородок. Широко открытые глаза сверкали, но были бесцветны.

Макиэн был из тех, для кого порядок и ритуал естественнее своеволия. Он поклонился и спросил тише, чем прежде:

– Вы принесли мне весть?

– Да, – отвечал незнакомец. – Король вернулся.

– Я готов, – сказал Макиэн. – Вы возьмете меня с собой?

Серебряная статуя кивнула. Тогда Макиэн сел в серебряную ладью, и они полетели к звездам.

Это не метафора, ибо небеса очистились и стали такими прозрачными, что были ясно видны и звезды, и луна.

Когда облеченный в белые одежды поднял ввысь свою небесную ладью, он спокойно сказал Эвану:

– Вот тебе ответ на глупые толки о равенстве. Одни светила больше, другие

– меньше. Планеты вращаются вокруг звезд. Все они подчинены закону, но не равны.

– Все они прекрасны, – медленно сказал Эван.

– Они потому и прекрасны, что знают свое место, – отвечал небесный кормчий. – Теперь и Англия станет прекрасной по той же причине. Земля уподобится небу, ибо вернулся король.

– Стюарт... – серьезно начал Эван.

– Тот, кто вернулся, – прервал его собеседник, – старше Стюартов. Он и Тюдор, и Плантагенет, и Пендрагон. Вернулось старое время; вернулся век Сатурна; вернулось все, утраченное по воле неповиновения и мятежа – твой предок, погибший в битве, и Карл, отказавшийся отвечать мятежному суду, и Мария, обратившая волшебное лицо к неверным пэрам. Это Ричард, последний Плантагенет, отдающий корону Болингброку, как отдают кошелек разбойнику. Это Артур, окруженный язычниками и умирающий во мгле, не зная, вернется ли он на этот остров.

– А теперь... – тихо промолвил Эван.

– Теперь он вернулся, – сказал сверкающий. – Там, за морем, еще надо победить последних врагов, но в Англии правит он. Люди снова стали счастливыми рыцарями, счастливыми сквайрами,

счастливыми слугами, счастливыми крестьянами. Они свободны от пустого и тяжелого бремени, которое зовется гражданством.

– Неужели все это так? – спросил Эван.

– Можешь убедиться сам, – отвечал его собеседник. – Мне кажется, ты бывал тут.

Там, куда они летели, небеса были темны, но на черном сверкали серебром купол и крест. Наверное, их посеребрили заново, ибо они поистине обратились в белое пламя. Однако Эван сразу узнал эти места и подумал о том, вставили ли новое стекло в пустой редакции или нет.

Когда летающая ладья оказалась над собором, Макиэн различил и другие перемены. По всему куполу, на галерее, серебряными изваяниями стояли рыцари в латах, держа вверх остриями обнаженные мечи. Рыцари были живые, они охраняли крест; и Эван задохнулся, как задыхаются дети, когда увидят что-нибудь слишком красивое. Ничто на свете не могло бы так полно воплотить его мечты, как этот белый купол, вознесшийся над Лондоном тройной тиарой мечей.

Вглядевшись в улицы, Эван убедился, что его собеседник прав: все дышало порядком. Исчезли невесты куда суета и шум. Скромно и нарядно одетые люди степенно шли туда и сюда, и не по одному, а живописными группами, если не рядами; порядок же охраняли конные рыцари, застывшие на перекрестках, и латы их сверкали скорее алмазным, чем стальным блеском. Лишь на одном перекрестке – на углу Бувери-стрит – какой-то старик замешкался, переходя дорогу, и рыцарь не очень сильно ударил его по спине.

– Так нельзя, – сказал Макиэн. – Старик не может идти быстро.

– Порядок на улицах очень важен, – сказал одетый в белое.

– Справедливость важнее порядка, – сказал Макиэн.

Спутник его молчал. Лишь когда они летели над Сэнт-Джеймс-парком, он промолвил:

– Их надо научить послушанию. И я не уверен, – он взгляделся в тьму, – я не уверен, что ты прав.

Порядок в обществе гораздо важнее, чем справедливость к человеку.

Эван, глядевший вниз, обернулся к нему.

– Порядок в обществе... – отрывисто повторил он, – важнее... чем справедливость к человеку?

Потом он помолчал и спросил:

– Кто ты такой?

– Я ангел, – отвечал, не глядя на него, одетый в белые одежды.

– Ты не католик, – сказал Макиэн.

Одетый в белое не ответил, но сказал так:

– Наше воинство стоит на том, что младшие боятся старших.

– Говори еще! – вскричал Макиэн. – Говори!

– Кроме того, – продолжал его собеседник, – нам, избранным, пристали гордость и суровость.

– Говори! – восклицал Эван, и глаза его горели.

– Грех оскорбляет Господа, – продолжал неизвестный, – но и безобразие Его оскорбляет. Те, кто прекрасен и велик, обязаны проявлять нетерпимость к тем, кто убог, жалок и...

– Дурак! – крикнул Макиэн, вставая во весь рост. – Неужели ты не мог сказать иначе? Я знаю, что бывают плохие рыцари; я знаю, что хорошие рыцари – лишь слабые люди. Я знаю, что у Церкви есть дурные слуги и злые князья. Я всегда это знал. Ты мог бы сказать: «Да, зря он это сделал!» – и я бы все забыл. Но я увидел твое лицо и понял: что-то нечисто с тобой и с твоим законом; что-то... нет, все. Ты не ангел. Ты – не от Церкви. И король, который вернулся, не вправе править людьми.

– Жаль, что ты это говоришь, – промолвил его собеседник спокойно и жестко, – ибо ты скоро предстанешь перед королем.

– Нет, – отвечал Макиэн. – Я спрыгну вниз.

– Ты жаждешь смерти? – спросил неизвестный.

– Нет, – отвечал Эван. – Я жажду чуда.

– Кого же ты молишь о нем? – спросил тот, кто правил ладьей. – К кому ты взываешь, предавший монарха, отринувший крест, оскорбивший ангела?

– Я взываю к Богу, – отвечал Эван. Существо у руля медленно обернулось, посмотрело на него сверкающими, как солнце, глазами и слишком поздно поднесло ладонь ко рту, чтобы скрыть страшную усмешку.

– Откуда ты знаешь, – спросило оно, – что я не Бог?

Макиэн закричал.

– Теперь я понял, – промолвил он, – ты не Бог. Ты не Божий ангел. Но ты был им когда-то.

Создание в белом отняло ладонь от искривленных в усмешке губ, и тогда Макиэн спрыгнул вниз.

## Глава XVI СОН ТЕРНБУЛЛА

Тернбулл мерил шагами сад и жевал сигарету, в том самом настроении, в котором так хочется плюнуть на землю. Настроениям он поддавался редко, и душевные бури Макиэна вызывали в нем сострадание, но не были ему понятны, словно перед ним играли романтическую пьесу из жизни горных шотландцев. Сам он принадлежал к тем, у кого жадно и спорно работает разум, чувства же развиты слабо. Он был благороден и добр, но не думал об этом – его занимало не сердце, а голова. И утром, и вечером он не мечтал, не страдал и не надеялся – он решал проблемы, поверял догадки, делал обобщения. Однако даже такой счастливый нрав не выдержит сумасшедшего дома, не говоря уж об неотвязном образе благочестивой белокурой девицы. Словом, в этот непогожий день Джеймс Тернбулл был сам не свой.

Быть может, небо и земля действовали на его душу сильнее, чем он предполагал; а погода в тот вечер сердилась не меньше его. Вихри и полосы рыжих, как он, облаков неслись куда-то клочьями мятежного знамени. Неумолимый ветер кружил над садом алые цветы и медные листья, вторившие меди и багрянцу облаков. Глядя на такую смуту, мятежник, и гневался, и радовался. Деревья ломались и гнулись, рвались облака, и клочки их неслись дальше. Один из этих клочков летел быстрее других и сверкал сильнее, но почему-то не менял формы.

Глядя на небо, Тернбулл пережил тот странный миг, когда невероятное становится несомненным. Медное облачко несло к земле огромным листом осеннего бука. И в этот миг оказалось, во-первых, что это не облачко, а во-вторых, что оно не медное, а только отражает медь сверкающих облаков. Когда странный предмет подлетел поближе, стало ясно, что это – небольшой самолет. Когда он был футах в ста, Тернбулл разглядел и пилота, черного на бронзовом фоне, а пилот этот минуты через две приземлился у большой яблони.

Едва не перевернув маленький самолет, летчик выпрыгнул из него ловко, как обезьяна, и с исключительной прытью вскочил на стену, где и уселся как можно удобней, болтая ногами и ухмыляясь Тернбуллу. Ветер дико сотрясал деревья, багровые клочья заката исчезали за горизонтом, словно багровых драконов затягивала пучина, а на стене преспокойно сидел высокий человек, болтая ногами в такт буре. Над ним метался, поднявшись вверх, самолет, привязанный длинной веревкой к дереву.

Неподвижно постояв целую минуту, Тернбулл обернулся и посмотрел на прямоугольник сада и длинный прямоугольник здания. Все как будто вымерло, и редактору показалось, что кроме него никого и не было на свете.

Собрав все сильное, но безрадостное мужество атеиста, он приблизился немного к ограде и, увидев незнакомца под другим углом, в другом освещении, хорошо разглядел его лицо и фигуру. Он походил на пирата из мальчишеских книжек, во-первых, тем, что его худое коричневое тело было обнажено до пояса, во-вторых, тем, что из каких-то неведомых соображений голова его была туго, хотя и не очень аккуратно, повязана ярко-красной тряпкой из-под которой выбивались ярко-белые волосы. Лицо молодое, несмотря на седину, поражало силой и красотой, которую, может быть, немного портил длинный раздвоенный подбородок (его можно было бы назвать двойным, если бы сочетание это употреблялось в другом смысле).

Незнакомец улыбнулся. Собственно, именно те черты, которые нарушали правильность его лица, подчеркивали насмешливую гордыню, с которой он глядел на камни, цветы и особенно на одинокого человека, стоявшего перед ним.

– Что вам нужно? – крикнул Тернбулл.

– Мне нужен ты, Джимми, – отвечал эксцентричный незнакомец, спрыгивая прямо на газон. Приземлившись, он подпрыгнул, как резиновый мячик; и застыл на месте, расставив ноги. Теперь Тернбулл разглядел еще три вещи: на поясе у пришельца висел страшноватый нож, коричневые ноги были босыми, глаза ярко сверкали, но были бесцветными.

– Прости, я не во фраке, – сказал незнакомец, – сам понимаешь, мотор, то-се, перепачкаешься...

– Знаете что, – сказал Тернбулл, сжимая в карманах кулаки, – я привык разговаривать с сумасшедшими тут, в саду, но из-за стены им лезть не советую, а уж тем более – падать с неба.

– Ай-яй-яй! – сказал незнакомец. – Ты же сам перелез через эту стену, Джим.

– Что вам нужно? – снова спросил Тернбулл.

– Нам обоим нужно одно и то же, – серьезно сказал пришелец. – Нам нужен мятеж.

Тернбулл посмотрел на пламенное небо и мечущиеся деревья, повторяя про себя слово, так хорошо выражавшее и то, что творилось в его душе, и то, что творилось в природе. Повторяя его, он неизвестно почему очутился на стене, рядом с пришельцем. Когда же тот молча подтянул за веревку маленький самолет, он сказал:

– Я не могу оставить тут Эвана.

– Мы свергнем папу и королей, – сказал незнакомец, – стоит ли брать его на такое дело?

Сам не заметив *как*, Тернбулл оказался в самолете, и они взлетели вверх.

– Мятежники так слабо замахивались, – говорил человек в красном платке, – просто школьники из младших классов, лезущие на старшекласников!.. Да, вот истинная цена этим цареубийствам и французским революциям. Кто посмел до сих пор замахнуться на учителя?

– Кого вы называете учителем? – спросил Тернбулл с удивлением.

– Сам знаешь, – отвечал странный пришелец, взглянув в гневное небо.

Небо это становилось все ярче и ярче, словно то был не закат, а рассвет; но земля становилась все темнее. Больница и сад казались отсюда смешными и какими-то детскими; но краски их быстро выцветали. Багрянец роз и георгинов стал лиловой синевою, золото дорожек – темной бронзой. Когда самолет поднялся настолько, что исчезло все, кроме крохотных светящихся точек, рубиновый свет небес неистовствовал кругом, словно море Дионисова напитка. Внизу тускло светились упавшие звезды гаснущего разума, вверху бились знамена свободы и мятежа.

По-видимому, незнакомец умел читать мысли, ибо он сказал именно то, о чем подумал было Тернбулл.

– Правда, как будто все перевернулось? То-то и хорошо здесь, в небе, – все вверх дном! Летишь, летишь вверх к утренней звезде – и вдруг поймешь, что ты на нее падаешь. Нырнешь поглубже в небо – и поймешь, что ты вознесся. Мир только тем и хорош, что в нем нет ни верха, ни низа.

Тернбулл молчал, и он продолжал свою речь:

– В небе и узнаешь мятеж, настоящий мятеж. Все высокое тонет внизу, все большое становится маленьким. На свете есть только одна небесная радость – *сомнение*.

Тернбулл по-прежнему молчал, и незнакомец спросил его:

– Значит, твой Макиэн тебя обратил?

– Обратил?! – вскричал Тернбулл. – Да почему? Мы с ним знакомы один месяц, и я ничем...

– Христианство – странная штука, – задумчиво сказал незнакомец с раздвоенным подбородком, легко облокачиваясь на руль. – Ты и не заметишь, как размякнешь... собственно, ты и не заметил.

– Я атеист, – сдавленным голосом проговорил Тернбулл. – Я всегда был атеистом. Да побойтесь вы Бога!

– Я не боюсь Его, – сказал незнакомец.

Тернбулл сплюнул в окошко; незнакомец продолжал:

– А жаль, мы очень на тебя рассчитывали... Умны они, гады, особенно такие дураки, как твой Макиэн.

– Да ничего я от него не набрался! – заорал Тернбулл. – Если я так плох, куда вы меня везете?

– Я везу тебя, – отвечал незнакомец, – чтобы показать последний мятеж. Тот самый, о котором ты мечтал, разгуливая вон там и размахивая от ярости руками.

Самолет стал спускаться – резко, словно человек, нырнувший в воду, и Тернбулл увидел внизу слишком хорошо знакомые места. Гнев заката утих, небо потемнело, слабые уличные огни освещали собор св. Павла. Да, собор еще стоял, но крест лежал рядом, на земле.

– Прибыли в самое время, – сказал пилот. – Сбили уже, молодцы! Мятежники все больше люди простые, и для них это – добрый знак.

– Конечно, – сказал Тернбулл без особого пыла.

– Я думал, – сказал незнакомец, – тебе приятно видеть, что молитва твоя исполнилась. Прости, конечно, за такое слово.

– Ладно, чего уж там! – отвечал Тернбулл. Самолет поднимался снова, и теперь внизу что-то ярко сверкало. Ладгэйт-хилл изменился мало, если не считать креста, но другие районы кишели людьми. Когда же Тернбулл с птичьего полета увидел почти весь Лондон, опьяняющий дух мятежа ударил ему в голову.

– Неужели восстал весь народ? – спросил он, едва дыша. – Неужели все бедные за нас? Незнакомец пожал плечами.

– Сознательные, конечно, – сказал он. – Были кой-какие предместья... да вот, над одним мы пролетаем.

Тернбулл посмотрел туда и увидел яркий свет. Тихие кварталы предместья пылали, словно перья, охваченные пожаром.

– Что с ними поделаешь, трущобы... – сказал незнакомец. – Понимаешь, эти людишки слишком измотаны и слабы для мятежа. Мешали нам.

– И вы их сжигаете? – проговорил Тернбулл.

– Просто как, а? – усмехнулся незнакомец. – Только подумать, сколько было хлопот и разговоров, как помочь этим... бедным. А на что они сдались? На что они будущему? Вместо них придут новые, счастливые поколения.

– Разрешите мне сказать, – не сразу выговорил Тернбулл, – что это мне не нравится.

– Разреши и мне, – усмехнулся незнакомец, – сказать, что мне не нравится мистер Эван Макиэн.

Тонкий душою скептик почему-то не обиделся, даже не ответил – он мучительно думал о чем-то, пока не произнес:

– Нет. Мне кажется, не друг мой заразил меня такими взглядами. Мне кажется, я и раньше сказал бы то же самое. У этих людей есть свои права.

– Права! – неопишущим голосом повторил незнакомец. – Ах, права! А может быть, и души?

– У них есть жизнь, – серьезно отвечал Тернбулл, – с меня и этого хватит. Мне казалось, вы признаете жизнь священной.

– Еще бы! – в каком-то восторге воскликнул его собеседник. – *Жизнь* священна, отдельные жизни – ни в коей мере! Мы именно улучшаем жизнь, уничтожая слабых. Можешь ли ты, свободомыслящий, отыскать здесь ошибку?

– Да, – отвечал Тернбулл.

– Ах, какая непоследовательность! – усмехнулся пришелец. – Ты же одобрял тиранубийство. Что ж это – отнимать жизнь у того, кто умеет ею пользоваться, и жалеть всякую страждущую шваль?

Тернбулл неспешно поднялся; он был очень бледен. Незнакомец тем временем кричал:

– Да на этом самом месте поставят золотые статуи здоровых и счастливых людей! Ты подумай, прежде тут рисовал на мостовой пьяный художник, которому жизнь не в радость, а мы...

Не опускаясь на сиденье, Тернбулл проговорил:

– Нельзя ли нам спуститься на землю? Я хочу выйти.

– То есть как это выйти? – крикнул незнакомец. – Ты будешь вождем, ты у меня..

– Спасибо, – так же медленно, словно мучаясь, отвечал Тернбулл. – Мне нечего делать у вас.

– Куда ж тебя тянет, в монастырь? – ухмыльнулся незнакомец. – К Макиэну и его умильным мадоннам?

– Меня тянет в сумасшедший дом, – четко отвечал редактор. – Туда, откуда вы меня взяли.

– Зачем? – спросил незнакомец.

– Соскучился по приличным людям.

Незнакомец долго и насмешливо глядел на него (одна издевка отражала другую в его взоре, словно там была целая система поставленных друг против друга зеркал), потом спросил прямо:

– Ты думаешь, что я – дьявол?

– Да, – ответил Тернбулл. – Я думаю, что дьявола нет. Нет и вас, вы мне снится. И вы, и ваш самолет, и ваш мятеж – только страшный сон. Я верю в это и умру за свою веру, как святая Екатерина, ибо спрыгну и проснусь живым.

И он нырнул в небо, как ныряют в море. Звезды и планеты взметнулись перевернутым фейерверком, но сердце его наполнилось радостью. Он не знал, чему радуется; он почти не помнил слов Эвана о разнице между Христом и сатаной, когда сам, по собственной воле, падал вниз.

Очнувшись, он понял, что опершись на локоть, лежит на больничном газоне, и пурпур заката еще не угас над ним.



## Часть пятая

### Глава XVII ИДИОТ

Эван Макиэн стоял неподалеку и молча смотрел на него. Тернбулл не смел спросить его, не упал ли он сам с неба, а Макиэн ничего не сказал. Они подошли друг к другу – лица у них были совсем одинаковые – и впервые за все это время пожали друг другу руки.

Словно то был сигнал, из дома немедленно выскочил доктор и побежал прямо к ним.

– Вот вы где! – кричал он. – Заходите, вы мне нужны!

Они вошли в его сверкающий кабинет. Опустившись во вращающееся кресло, он обернулся к ним и впервые посмотрел на них без улыбки.

– Буду говорить прямо, – начал он. – Как вы прекрасно знаете, мы делаем для каждого, что можем. Сам главный врач решил, что ваши заболевания требуют особых методов и... э-э... более простых условий.

– Если ваш главный врач так решил, – произнес Макиэн, – пусть он нам и скажет. Вам я не верю. Вы – человек слабоумный. Мы хотим видеть вашего начальника.

– Это невозможно, – отвечал доктор Квейл.

– Послушайте, – сказал Макиэн, – мы с ним сумасшедшие. Если мы вас убьем, нам ничего не будет.

– Вполне согласен, – прибавил Тернбулл.

Доктор Квейл издал слабый смешок.

– Ну, что вы! – проговорил он. – Пожалуйста, идите, если вам так приспичило... – И выбежал из кабинета, а оба шотландца побежали за ним. Когда он постучал в самую обычную дверь и оттуда послышалось «Прошу!», у Макиэна упало сердце, но нетерпеливый Тернбулл ворвался в комнату.

Там было прибрано и красиво, стены скрывались за рядами медицинских книг, а в дальнем конце стоял большой стол, и на нем горела лампа. Света было достаточно, чтобы различить стройного холеного человека в белом халате. Седая его голова низко склонилась над бумагами. Он поднял взор на мгновение, свет упал на его очки, и посетители увидели длинное лицо, которое можно было бы назвать породистым, если бы раздвоенный подбородок не придавал ему сходства с актером. Лицо мелькнуло лишь на миг, потом седая голова снова склонилась, и человек за столом сказал не глядя:

– Я приказал вам, доктор Квейл, отправить этих больных в палаты В и С.

Тернбулл и Макиэн переглянулись и пошли за доктором Квейлом.

Когда они вышли в коридор, четыре дюжих санитаров сразу окружили их. Они могли бы, наверное, подраться с ними и победить, но по какой-то неведомой причине они вместо этого засмеялись. По холодным проходам их долго вели, вероятно, в глубины здания, ибо окна становились все темнее.

Потом окон вообще не стало, в коридорах горели лампочки. Пройдя не меньше мили по белым блестящим туннелям, они наконец добрались до тупика. Перед ними стояла белая стена, в ней были две белые железные двери, а на них буквы – «В» и «С»,

– Вам сюда, сэр, – вежливо сказал главный из санитаров, – а вам сюда.

Прежде чем двери за ними закрылись, Макиэн успел сказать Тернбуллу:

– Интересно, кто в палате А?

Тернбулл вошел не так покорно, его в палату втокнули, и потому он минут пять был охвачен боевым пылом. Лишь тогда, когда за два с половиной часа не случилось совершенно ничего, до него дошло, что жизнь его кончилась: он похоронен заживо, он мертв, мир победил его.

Палата его, или камера, была узкой и длинной. Воздух в нее попадал, видимо, по трубам, и в стене зияли какие-то дырки. Медики считали, без сомнения, что человек должен быть здоров, даже если он несчастен. По камере можно было ходить (длиной она была в 1/35 мили), в ней хватало кислорода. На этом их забота внезапно кончалась. Они не думали, что радость прогулки – в свободе; они не знали, что свежий воздух хорош под открытым небом. И кислород, и прогулку они прописывали как лекарство. Особенно пеклись они о чистоте. Каждое утро, очень рано, во всех четырех углах открывались железные рты, и вода мыла стены. Это особенно раздражало узника. «Да я тут сгнию, как в могиле! – восклицал он. – Какое им дело, чисто у меня или грязно?» Дважды в день

открывалась железная дверца, и волосатая темная рука совала в камеру тарелку прекрасно сваренных бобов и большую чашку какао.

Узник мог ходить, дышать свежим воздухом, хорошо питаться – но ходить ему было некуда, пировать незачем, да и дышать, собственно, тоже.

Даже самая форма комнаты раздражала его. Одна из коротких стен была плоская, а другая почему-то углом, словно нос корабля. Через три дня тишины и какао этот угол стал просто бесить Тернбулла. Он не мог спокойно думать о том, что две линии сходятся, никуда не указывая. Через пять дней он уткнулся туда лицом, через двадцать пять чуть не разбил об него голову. После чего им овладело тупое спокойствие, и на угол он глядел с бесцельным любопытством.

Ему было свойственно все узнавать и разнюхивать, словно он стал Робинзоном Крузо, особенно же влекли его дырки в стене. Довольно скоро он обнаружил, что к ним подведены длинные трубы, по которым идет воздух, видимо – с хорошего курорта. Однажды, осматривая их в пятый раз, он заметил в одной слабый свет, сунул в дырку руку и нащупал совсем недалеко какую-то хлопающую заслонку, которая закрывала конец трубы. Он приподнял ее, труба вела в соседнюю камеру.

Механизация наших дней хороша тем, что если что-нибудь портится, оно портится начисто. Наши механизмы не починишь так просто, как прежние орудия или живой организм. Из винтовки можно убить слона, но раненый слон легко ломает винтовку. Можно создать сильную армию на одном страхе; но вполне возможно, что рано или поздно солдаты испугаются противников больше, чем офицеров. Так и канализация: пока она действует, все прекрасно; но стоит ей испортиться, и город отравлен. Наши машины и приборы прекрасно экономят время, но почти совсем не умеют противостоять человеку. Достать конфету из автомата легче, чем купить ее; но если мы ее украдем, автомат не погонится за нами.

Тернбулл скоро открыл эти истины, исследуя гигантский механизм сумасшедшего дома. С тех пор, как его втокнули в камеру, палату или келью, он пережил много состояний духа. Приступ гордости и даже радости сменился холодной пустотой. Потом проснулось любопытство, побудившее его все рассматривать; он многое обнаружил, причем больше всего его раздражали непонятный угол и какая-то железка, торчавшая из стены. Потом его обуяло безумие, которое описывать не мне, а тем, кто любит копаться в низинах человеческой души. Прошло и оно, оставив по себе злое раздражение. Когда он давно уж обрел ту безнадежную бодрость, которую обретает человек на необитаемом острове, ему были неприятны и стены, и пол, а главное – он яростно ненавидел непонятную железку.

Однако в безумии и в здравом уме, в отчаянии или спокойствии стойка Тернбулл не сомневался, что машина держит его так бездумно и крепко, как держало с рожденья безрадостное мирозданье его веры. Он знал, что наша цивилизация очень сильна, и выйти из сумасшедшего дома невозможно для него, как выйти из Солнечной системы. О Макиэне он вспоминал с доброй печалью, словно о драчливом друге детства, который давно умер. Пытаясь изложить свои мысли, он сам удивлялся тому, как они изменились; но писать было очень трудно и потому, что в кармане у него оказалось совсем немного бумаги, а на кафеле стен невозможно было что-нибудь нацарапать. Когда он это понял, над ним тяжкой волною навис ужас перед нашим научным методом, лишаящим человека не только свободы, но и жалких радостей узилища. В старых, грязных тюрьмах можно было нацарапать на камне молитву или проклятие, но эти гигиенические стены не могли даже запечатлеть свидетельство. Прежде узник мог приручить мышь или хотя бы мокрицу – но эти непроницаемые стены мыли каждый день. Так Джеймс Тернбулл увидел впервые непобедимую жестокость мира, в котором он жил, и жестокость чего-то, чего он никак не мог назвать. Однако он не сомневался, что пятиугольник стен отделяет его от живых, подобно склепу, и он невообразимо удивился, увидев в одном из отверстий слабый свет. Он забыл о том, как плотно все подогнано в наших механизмах, и потому – как легко они ломаются. Тернбулл сунул в дырку палец. Свет был слабый, падал сбоку, должно быть – из окна, находившегося повыше. Изо всех сил вглядываясь в этот свет, плененный журналист с удивлением увидел, как другой палец, очень длинный, появился в трубе и поднял его куда-то вверх. Свет исчез, но вместо него появилась часть лица и послышались какие-то звуки.

– Кто там? – спросил Тернбулл, дрожа и от страха, и от радости.

И услышал привычный, приятный голос:

– Я говорю, через эту трубку не сразишься, а?

Тернбулл долго молчал, и чувства его просто неудобно описывать. Потом он весело ответил:

– Лучше сперва поболтаем. Зачем убивать первого человека, которого я увидел за десять миллионов лет?

– Да,– сказал Эван,– тяжелоато бывало. Целый месяц я провел наедине с Богом.

Тернбулл едва не сказал: «Ну, тогда вы не знаете, что такое одиночество», но ответил в прежнем стиле:

– Вот как? А с Ним не скучно?

– Нет,– отвечал Макиэн, и голос его дрожал.– О, нет!

После долгого молчания он прибавил:

– Что вы там, у себя, ненавидите больше всего?

– Если я вам скажу, вы решите, что я спятил,– отвечал Тернбулл.

– Значит, то же самое, что и я,– сказал Макиэн.– Железку.

– Как, и у вас она есть? – вскричал редактор.

– Была,– спокойно сказал Макиэн.– Я ее сломал.

– «Сломал» ...– медленно повторил Тернбулл.

– Выдернул на второй день,– спокойно продолжал Эван.– Она такая... ненужная...

– Однако и сильный же вы! – сказал Тернбулл.

– Будешь сильный, когда ты не в себе,– отвечал Макиэн. – Никак не могу понять, зачем она. Зато я обнаружил занятную штуку.

– Какую? – проговорил Тернбулл.

– Я узнал, кто сидит в камере А,– сказал Макиэн.

Показать это он смог только через три недели, но и теперь узники всюю использовали упомянутую выше особенность механизации. Тюремщиков здесь не было, другими словами – некого было подкупить, зато никто и не следил. Механизмы, моющие стены и доставляющие какао, были столь же беспомощны, сколь и безжалостны. Понемногу, трудясь с обеих сторон, герои наши расширили дыру настолько, что в нее уже мог пролезть щедушный человек. Наконец Тернбулл попал к Макиэну и сразу увидел еще одну дыру на месте ненавистной железки.

– Что там за ней? – спросил он.

– Другая палата,– ответил Эван.

– А где в нее дверь? – удивился Тернбулл.– Наши двери с другой стороны.

– Двери там нет,– ответил Эван.– Джеймс, они ненавидят нас больше, чем Нерон ненавидел христиан, и боятся больше, чем люди боялись Нерона. И все же не мы для них ненавистней и страшнее всех. Они похоронили нас – ведь мы просто проделали дверку в гробе,– но еще один похоронен глубже. Не знаю, что он сделал. У него нет ни двери, ни окна, ни люка на потолке. Наверное, железки для того и нужны, чтобы засунуть его в гроб. Я его видел, но только сзади. Он не оборачивается и не двигается.

Суеверный ужас, охвативший Тернбулла во время этой речи, разрешился тем, что он кинулся к дырке и заглянул в соседнюю палату. Она была такая же узкая и длинная, как и у них, но буква «А», за отсутствием двери, красовалась внутри. На кафельном полу, сводившем Тернбулла с ума, сидел какой-то человек. Он был так мал, что его можно было бы счесть за ребенка, если бы он не оброс длиннейшими волосами, мерцающими, словно иней. Одет он был по всей видимости в какие-то лохмотья от бурого халата; рядом с ним, на полу, стояла чашка из-под какао.

Тернбулл продержался шесть долгих секунд и что-то крикнул седому человеку. Тот вскочил легко, как зверек, обернулся, и явил им серые круглые глаза и длинную седую бороду. Борода эта в буквальном смысле слова спускалась до пят, что было кстати, ибо от одежды при малейшем движении отлетал хотя бы один клоч. Лицо у старика было таким тонким и глубоким, что казалось, что у него лиц пять или десять. Он был старым, как мир; но глаза сияли, как у младенца, или, скажем иначе,– словно их только что вставили.

То, что скажет этот человек, было настолько важно, что Тернбулл забыл, о чем спросил и спросил ли. Наконец раздался тонкий голос. Человек говорил по-английски с каким-то акцентом, но не романским и не немецким. Протянув маленькую грязную руку, он воскликнул:

– Это дырка!

Подумав немного и радостно посмеявшись, он добавил:

– А в ней голова. Тернбуллу стало не по себе.

– За что они сунули вас в такое место? – растерянно спросил он.

– Да, хорошее место,– сказал старик, улыбаясь, как польщенный хозяин.– Длинное, узкое и с

углом. Вот такое.— И он с любовной точностью очертил в воздухе форму палаты.

— А какие квадратики,— доверчиво сообщил он.— Смотрю и смотрю, все пересчитал. Но и это не самое лучшее;

— Что же тут лучшее? — спросил вконец расстроенный Тернбулл.

— Железка,— отвечал старик, сияя синими глазами.— Она — торчит!

— Что мы можем сделать для вас? — спросил Тернбулл, и голос его дрогнул от жалости.

— Мне ничего не нужно,— сказал старик.— Мне очень хорошо. Вы — добрый человек. Что для вас сделать?

— Вряд ли вы можете нам помочь,— печально сказал Тернбулл.— Спасибо и на том, что вам не плохо.

Старик с неожиданной суровостью поглядел на него.

— Вы уверены,— сказал он,— что я не могу помочь вам?

— Уверены, спасибо,— ответил Тернбулл.— До свиданья!

И закричал снова, обернувшись к Эвану:

— Звери! До чего они его довели!

— Вы думаете, он сумасшедший? — медленно спросил Эван.

— Нет,— ответил Тернбулл,— он слабоумный. Идиот.

— Он хочет нам помочь...— начал Макиэн, направляясь в другой конец палаты.

— Да, просто сердце разрывается,— откликнулся Тернбулл.— Это он — нам... Эй, что это?

— Господи, помилуй! — сказал Эван, глядя, как открывается дверь, тридцать дней отделявшая их от мира. Тернбулл подбежал к ней; она уже приоткрылась на дюйм.

— Он хотел...— неверным голосом проговорил Эван.— Он предложил...

— Да идите вы сюда! — заорал Тернбулл.— Ну, ясно в чем дело! Когда вы сломали железку, что-то у них там разладилось, а сейчас испортилось совсем.

Схватив Макиэна за руку, он вытащил его в коридор и тащил, пока сквозь полутемное окно они не увидели дневного света.

— Нет,— сказал Макиэн, словно их беседа и не обрывалась,— он спросил, не может ли он помочь нам.

Шли они чуть ли не целый час, и когда очередной коридор вывел их к выходу, сверкающий прямоугольник травы, залитой предвечерним золотом, показался им дверью в небо. Раза два за свою жизнь человек видит мир извне, и ощущает саму жизнь как неначатое приключение. Глядя на сверкающий сад из адского лабиринта, оба шотландца чувствовали себя так, словно еще не родились и Бог спрашивает их, хотят ли они пожить на земле.

Тернбулл выскочил в сад первым так легко, словно мог бы взлететь. Макиэн, исполненный радости и страха, еще поглядел изнутри на невинные краски цветов и блаженную листву деревьев. Потом и он вышел в предвечернюю прохладу, где у самой двери стоял и смотрел на них человек в черном. Чем презрительнее он усмехался, тем длиннее становился его подбородок.

## Глава XVIII ЗАГАДКИ И ЗНАМЕНА

Чуть-чуть поодаль, сзади, стояли два врача: известный нам Квейл и какой-то еще, помоложе и поплотнее, с гладко причесанными волосами и круглым, но не кротким лицом. Оба они кинулись к беглецам, но начальник их, не двигаясь с места, остановил их леденящим взглядом.

— Пускай идут,— ледяным голосом сказал он (лед его голоса и взгляда, без сомнения, никогда не был водой).— Не люблю излишнего рвения. Неужели вы думаете, что я дал бы им выйти из палат, если бы этого не хотел? Теперь — пускай гуляют, весь мир стал для них палатой. Да пускай хоть выйдут за стену — от меня им не уйти. Пускай возьмут крылья зари и переселятся на край моря — и там рука моя поведет их и удержит десница моя. Не унывайте, доктор Квейл, истинная тирания только начинается.

И с этими словами главный врач удалился, смеясь на ходу, словно смех его был слишком страшен для человечества.

Тернбулл резко спросил у его подчиненных:

— Что это значит?

– Разрешите представиться, – улыбаясь сказал тот, что помоложе: – Доктор Хаттон. Насколько я понимаю, вы недовольны тем, что вам разрешили свободный режим?

– Нет, – сказал Тернбулл. – Я недоволен другим: если мне можно свободно гулять, почему меня целый месяц держали взаперти? Никто меня не осматривал, ничего не изменилось...

Молодой врач курил, глядя в землю, потом ответил:

– Многое изменилось. Именно за этот месяц *он* провел свой законопроект. Теперь организована особая, медицинская полиция. Даже если вы сбежите, любой полисмен схватит вас, поскольку у вас нет нашей справки о нормальности.

Доктор Крейл тем временем шагал большими шагами по газону; доктор Хаттон продолжал свой рассказ:

– Глава нашей клиники объяснил членам парламента, почему, с научной точки зрения, неверна прежняя система. Ошибка заключалась в том, что сумасшествие считалось исключением. На самом же деле оно – как, скажем, забывчивость – присуще почти всем людям, и целесообразнее определять тех немногих – очень немногих, – у кого его нет. Если это доказано достаточно точно, человек получает справку, а чтобы легче было, ему выдают маленький значок – букву «S», латинское «Sanus»\* – И парламент принял такой закон? – спросил Тернбулл.

– Мы им объяснили, – сказал врач, – что науке виднее.

Тернбулл пнул ногой камень, сдержался и спросил еще:

– При чем же тут мы? Почему нас заперли? Ни я, ни Макиэн – не члены парламента, не министры...

– Он не боялся министров, – перебил его медик, – *он* не боялся ни палаты общин, ни палаты лордов. *Он* боялся вас обоих.

– Боялся! – впервые за это время вступил в беседу Эван. – Неужели он...

– Опасность позади, теперь это сказать можно, – перебил врач и его. – Только вас обоих он и боялся. Нет, есть и третий, его он боялся еще сильнее и похоронил еще надежней.

– Идем отсюда, Джеймс, – сказал Макиэн. – Надо это все обдумать.

Однако Тернбулл спросил напоследок:

– Но что стряслось с народом? Почему вся Англия помешалась на помешательстве?

Доктор Хаттон улыбнулся своей открытой улыбкой и отвесил легкий поклон.

– Не хотел бы потворствовать вашему тщеславию, – сказал он.

Тернбулл молча повернулся и вместе с Макиэном исчез в светящейся листве сада. Место их заключения почти не изменилось, разве что цветы были красивей, чем когда-либо, а больных или врачей стало больше: на дорожках то и дело попадались какие-то люди.

Один из этих людей – скорее всего врач – решительно и быстро прошел мимо, и Тернбуллу показалось, что он где-то его видел; более того, что он когда-то на него смотрел. Лицо его не вызывало ни гнева, ни нежности, но Тернбулл знал, что оно играло немалую роль в его жизни. Кружа по саду, он пытался припомнить, с чем связано это породистое, но никак не благородное лицо. С врачами Тернбулл редко имел дело, психиатров вообще не видел до недавних пор. Так кто же это, дальний родственник или забытый попутчик?

Вдруг человек этот, снова проходя мимо, раздраженно поправил пенсне, и Тернбулл вспомнил: то был судья, перед которым некогда стояли они с Макиэном. По-видимому, его вызвали сюда по делу.

Сердце у редактора забилося сильнее. А может, мистер Кэмберленд Вэйн проверяет, законно ли то, что здесь творится? Конечно, судья глуповат, но никак не бессердечен, даже благодушен в своем роде. Как бы то ни было, он много больше похож на человека, чем безумец с бородой или мертвец с раздвоенным подбородком. И редактор подошел к судье.

– Добрый вечер, мистер Вэйн, – сказал он. – Наверное, вы меня не помните.

– Как не помнить! – с неожиданной живостью, если не злобой, отвечал судья. – Еще бы мне не помнить вас и этого... длинного...

– Макиэна, сэр, – учтиво подсказал Тернбулл. – Он тоже здесь.

– То-то и оно! – воскликнул Вэйн. – Черт бы его побрал!

– Мистер Вэйн, – миролюбиво сказал Тернбулл, – спорить не буду, мы вам порядком досадили. Вы были очень добры к нам, и теперь, надеюсь, подтвердите, что мы-не преступники и не сумасшедшие. Пожалуйста, помогите нам! С вашим влиянием...

– Моим влиянием?! – крикнул судья. – В каком это смысле? – Лицо его изменялось от гнева, но

сердился он, кажется, не на Тернбулла.

– Разрази меня Бог... простите, гром! – наконец крикнул он снова. – Я здесь не судья. Я – больной. Эти кретины утверждают, что я сошел с ума.

– Вы?! – воскликнул Тернбулл, – Вы сошли с ума? – и, едва удержавшись от слов: «Да у вас его и не было», мягко продолжал: – Быть не может. Такие, как мы с Эваном, можем страдать безвинно, но вам это просто не идет... У вас *должно* быть влияние.

– Теперь оно есть в Англии только у одного человека, – сказал Вэйн, и высокий его голос неожиданно зазвучал жалобно и покорно. – У этого негодяя с длинным подбородком.

– Как же до этого дошло? – спросил Тернбулл. – Кто виноват?

– Кто виноват? – повторил судья, – Да вы же! Когда вы согласились драться с Макиэном, все перевернулось. Англичане теперь поверят, что премьер-министр выкрасился в розовое с белыми крапинками.

– Не понимаю, – произнес Тернбулл. – Да я же всю свою жизнь дрался.

– Но *как* вы дрались? – вскричал судья. – Конечно, бывало, вы пересаливали, однако мы понимали вас... мы на вас надеялись...

– Вот как? – спросил редактор «Атеиста». – Жаль, я тогда не знал...

Быстро отойдя в сторону, он опустился на скамейку, и минут шесть собственные мучения мешали ему понять, как странно и как смешно, что судья Вэйн признан сумасшедшим.

Здесь, в саду, было так красиво, что казалось, будто на всем свете просто течет время, когда тут занимается рассвет или начинается закат. Один здешний вечер – точнее, самый конец дня – Эван Макиэн вспомнит, мы полагаем, в самый час своей смерти. Поэты и художники сравнивали именно такое небо с желтым нарциссом, но сравнению этому недостает тонкости и точности. Небеса сияли той невинной желтизной, которая не ведает шафрановых оттенков, и каждый миг может перейти в зеленый цвет. Деревья на этом фоне стали фиолетово-синими, белый месяц едва виднелся. Макиэн, повторю, запомнил навсегда эти прозрачные, почти призрачные минуты, и потому что они сияли девственным золотом и серебром, и потому что они были самыми страшными в его жизни.

Тернбулл сидел на скамейке, и золотое предвечернее сияние трогало даже его, как тронуло бы вола на пастбище. Однако неспешные его раздумья мигом оборвались, когда он увидел, что Макиэн несет по газону, а вид у него такой, какого не бывало за все это время.

Уроженец Южной Шотландии хорошо знал чудачества уроженца Шотландии Северной, но на сей раз удивился, особенно когда Макиэн рухнул на скамью, едва не свалив ее, и стиснул колени, словно боролся с сильной болью.

Взглянув на бледное лицо своего друга и врага, Тернбулл похолодел. Синие глаза и прежде бывали темны, как бурное море у северо-западных берегов Шотландии, но в них звездой над морем всегда светилась надежда. Теперь звезда угасла.

– Они правы, они правы! – воскликнул Эван. – О, Господи, Джеймс, они правы! Меня и должны здесь держать! Ах, можно было догадаться... я столько мечтал, так возомнил о себе... думал, что все против меня... такие верные симптомы...

– Объясните же, что случилось! – вскричал атеист, не заметив, что голос его исполнен отеческой любви.

– Я сумасшедший, – ответил Эван и откинулся на спинку скамьи.

– Какая чепуха! – сказал Тернбулл. – Опять на вас что-то нашло.

Макиэн покачал головой.

– Я себя неплохо знаю. – сказал он. – На меня находит, это правда. Я бываю в раю, бываю в аду. Но ни один мистик не видит – просто так, глазами – того, чего нет.

– Что же вы видели? – недоверчиво спросил Тернбулл.

– Я видел *ее*, – тихо сказал Макиэн, – сейчас, здесь, в этом чертовом саду.

Тернбулл так растерялся, что ничего не ответил, и Эван продолжал:

– Я видел ее за дивными деревьями, на фоне блаженных небес, как вижу всякий раз, когда закрываю глаза. Я закрыл их, открыл, но она не исчезла. У ворота ее был такой же мех, но костюм казался ярче, чем тогда, когда я и впрямь ее видел.

Тернбулл наконец сумел рассмеяться.

– Замечтались, вот и все... – сказал он. – Приняли за нее другую девушку.

– Принял за нее другую... – начал Макиэн, и голос его пресекся.

Наступило молчание, тяжкое – для скептика, пустое и безнадежное – для рыцаря веры.

Наконец Эван сказал:

– Что ж, если я сошел с ума, слава Богу, что я помешался на этом.

Тернбулл что-то неловко пробормотал и закурил, чтобы собраться с мыслями, но тут же чуть не подпрыгнул.

На фоне бледно-лимонного неба появилась темная хрупкая фигурка, и он узнал соколиный профиль и гордую посадку головы. Медленно поднявшись, он произнес как можно беспечней:

– Да, Макиэн, ничего не скажешь, похожа.

– Что? – закричал Эван. – Вы тоже ее видите? – И звезда загорелась в его глазах.

Сдвинув брови, Тернбулл быстро пошел прямо по траве. Макиэн сидел недвижно и видел то, чего видеть нельзя, – он видел, как человек из плоти и крови подходит к призраку, как они здороваются и даже как они подают друг другу руки.

Больше выдержать он не мог, кинулся к ним и увидел снова, как с Тернбуллом по-светски приветливо беседует та, чье лицо в его снах то почти ускользало от него, то вставало перед ним с немыслимой наяву четкостью. Героиня его снов вежливо и мило протянула ему руку. Когда он тронул ее, он понял, что совершенно здоров, даже если весь мир сошел с ума.

Она была изысканно хороша и держалась с полной непринужденностью. Женщины, как это ни чудовищно, не выказывают чувств на людях; но Макиэн их выказал. Он по сей день не знает, что он спросил, но помнит очень точно, какое было у нее лицо, когда он спрашивал.

– Как, разве вы не слышали? – улыбаясь, ответила она. – Я – сумасшедшая.

Потом помолчала и прибавила не без гордости:

– У меня и справка есть.

Она по-прежнему держалась стоически, как светская дама, а Макиэн по-прежнему едва пролепетал:

– За что они вас сюда посадили? Она засмеялась неизвестно чему, как смеются женщины, и спросила в свой черед:

– А вас?

Тернбулл стоял в стороне и смотрел на рододендрон, быть может, потому, что Эван успешно воззвал к небесам, быть может – потому, что сам он хорошо знал здешнюю, земную жизнь. Но хотя они были теперь одни, как Адам и Ева, она говорила все тем же легким тоном.

– Меня здесь держат за то, – ответил Эван, – что я пытался сдержать обещание, которое дал вам.

– Ну вот, – сказала она и беззаботно кивнула. – А меня за то, что вы его дали мне.

Макиэн посмотрел на нее, потом – на траву, потом – на небо, и снова – на нее.

– Не смейтесь надо мной, – сказал он. – Неужели вы здесь потому, что помогли нам?

– Да, – отвечала она, по-прежнему улыбаясь, но голос изменил ей.

Эван закрыл лицо своей большой рукой и заплакала. Даже апостолу науки надоеет глядеть сорок пять минут на один и тот же кустик, и потому Тернбулл был рад, когда течение событий заставило его перейти к изучению штокроз, которые росли футов на пятьдесят дальше. Однако и там, не глядя на него, показались двое его знакомых, настолько захваченные беседой, что черноволосая голова почти прикасалась к каштановой.

Оставив штокрозы, Тернбулл перепрыгнул через клумбу и пошел к дому. Двое других медленно шли по тропинке, и только Бог знает, о чем они говорили (ибо ни он, ни она так и смогли это вспомнить); но если бы я случайно и знал, я бы не сказал вам.

Когда они остановились, она с прежней светскостью протянула руку, но рука эта дрожала.

– Если всегда будет, как сейчас, – неловко проговорил Эван, – неважно, выпустят ли нас отсюда.

– Вы пытались умереть из-за меня четыре раза, – сказала она. – Меня заперли из-за вас в сумасшедшем доме. Мне кажется, после этого...

– Да – тихо сказал Эван, не поднимая глаз, – после этого мы отданы друг другу. Мы... мы как бы проданы друг другу навеки. – И он поднял глаза. – Скажите, как вас зовут?

– Меня зовут Беатрис Дрейк, – серьезно отвечала она. – Можете все про меня прочитать вот тут, в этой справке.

## Глава XIX ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Тернбулл шел к дому, тщетно пытаясь понять, почему здесь оказались два столь разных человека, как судья и девушка.

Вдруг из-за лавровых кустов выскочил еще один человек и чуть не кинулся ему на шею.

– Неужели не узнаете? – почти прорыдал он, – Забыли меня? А что с моей яхтой?

– Пожалуйста, не обнимайте меня, – сказал Тернбулл. – Вы что, с ума сошли?

Человек опустил на дорожку и захохотал.

– Именно что нет! – вскричал он. – Торчу тут, а с ума не сошел! – И он снова залился невинным смехом.

Тернбулл, который уже ничему не удивлялся, серьезно смотрел на него круглыми серыми глазами.

– Если не ошибаюсь, мистер Уилкинсон, – минуты через две сказал он.

Уилкинсон, не вставая с дорожки, учтиво поклонился ему.

– К вашим услугам, – произнес он. – Нет, вы мне скажите, что с моей яхтой? Понимаете, меня здесь заперли, а яхта все же развлечение для холостяка.

– Простите нас, – с искренним огорчением сказал Тернбулл, – но сами видите...

– Вижу, вижу, при вас ее нет, – разумно и милостиво ответил Уилкинсон.

– Понимаете, – снова начал Тернбулл, но слова застыли в его устах, ибо из-за угла показалась борода и очки доктора Квейла.

– А, дорогой мой мистер Уилкинсон! – обрадовался врач. – И мистер Тернбулл здесь! Мне как раз надо побеседовать с мистером Тернбуллом. Я уверен, что вы нас простите! – И, кивнув Уилкинсону, он увлек Тернбулла за угол.

– Мой дорогой, – ласково сказал он, – я должен предупредить вас... вы ведь так умны... так почитаете науку. Не надо вам связываться с безнадежно больными. От них можно с ума сойти. Этот несчастный – один из самых ярких случаев так называемой навязчивой идеи. Он всем говорит, – и врач доверчиво понизил голос, – что двое людей увели его яхту. Рассказ его совершенно бессвязен.

– Нет, не могу!.. – воскликнул Тернбулл, топая ногой по камешкам.

– Я вас прекрасно понимаю, – печально сказал врач. – К счастью, такие случаи очень редки. Собственно, этот настолько редок, что мы создали особый термин – пердинавитит, то есть навязчивая мысль о том, что ты потерял какой-либо вид судна. Не хочу хвастаться, – и он смущенно улыбнулся, – что именно я обнаружил единственный случай пердинавитита.

– Доктор, это неправда! – воскликнул Тернбулл, чуть не вырывая у себя волосы. – У него действительно увели яхту. Я и увел.

Доктор Квейл пристально поглядел на него и ласково ответил:

– Ну конечно, конечно, увели, – и быстро удалился, бормоча: «Редчайший случай рапинавитита!.. Исключительно странно при элевтеромании... До сих пор не наблюдалось ни...» Тернбулл еще постоял немного и кинулся искать Макиэна, как кидается муж, даже плохой, искать жену, чтобы излить ей гневное недоумение.

Макиэн медленно шел по слабо освещенному саду, опустив голову, и никто не понял бы, что он – в раю. Он не думал, он даже ничего особенного не чувствовал. Он наслаждался воспоминаниями, главным образом – материальными: той или иной интонацией, движением руки. Это неколебимое и отрешенное наслаждение внезапно оборвалось, и перед ним появилась рыжая борода. Он отступил на шаг, и душа его медленно вернулась в окна глаз. Когда Джеймс Тернбулл скрещивал с ним шпаги, он не был в такой опасности. В течение трех секунд Макиэн мог бы убить собственного отца.

Однако гнев его исчез, когда он увидел лицо друга. Даже пламя рыцарской любви поблекло на миг перед огнем недоумения.

– Вы заболели? – испуганно спросил Макиэн.

– Я умираю, – спокойно отвечал Тернбулл. – Я в самом прямом смысле слова умираю от любопытства. Я хочу понять, что же все это значит.

Макиэн не ответил, и он продолжал свою речь:

– Тут Уилкинсон, этот, у которого мы взяли яхту. И судья, который судил нас. Что это значит? Только во сне видишь столько знакомых лиц.

Помолчав, он вскрикнул с какой-то невыносимой искренностью:



– А сами вы здесь, Эван? Может быть, вы мне снится? Может быть, вы вообще приснились мне, и я сплю?

Макиэн молча слушал каждое слово, и тут лицо его осветилось, как бывало, когда что-нибудь открывалось ему.

– Нет, благородный атеист! – воскликнул он. – Нет, целомудренный, учтивый, благочестивый враг веры! Вы не спите, вы просыпаетесь.

– Что вы хотите сказать? – проговорил Тернбулл.

– Много знакомых лиц видишь в двух случаях, – промолвил Макиэн, – во сне, и на Страшном суде.

– По вашему... – начал бывший редактор.

– По-моему, это не сон, – звонко сказал Эван.

– Значит... – снова заговорил Тернбулл.

– Молчите, я то я спутаюсь! – прервал его Эван, тяжело дыша. – Это трудно объяснить. Сои лживей, чем явь, а это – правдивей. Нет, сейчас не конец света, но конец чего-то... один из концов. И вот, все люди загнаны в один угол. Все сходится к одной точке.

– Какой? – спросил Тернбулл.

– Я ее не вижу, – отвечал Эван. – она слишком проста. – Он опять помолчал и сказал так;

– Я не вижу ее, но попробую объяснить. Тернбулл, три дня назад я понял, что нам не стоит драться.

– Три дня назад! – повторил Тернбулл. – Почему же это?

– Я понял, что не совсем прав, – сказал Эван, – когда увидел глаза того человека, в келье.

– В келье?! – удивился Тернбулл. – В камере, в палате? Этого идиота, который радовался, что железка торчит?

– Да, – отвечал Эван. – Когда я увидел его глаза и услышал его голос, мне открылось, что вас убивать не надо. Это все-таки грех.

– Премного обязан, – сказал Тернбулл.

– Подождите, мне трудно объяснить, – кротко сказал Эван. – Я ведь хочу сказать правду. Я хочу сказать больше, чем знаю.

Он снова помолчал.

– Так вот, – медленно продолжал он, – я исповедуюсь и каюсь в том, что хотел вас убить. Я покаялся бы в этом перед старым судьей. Я покаялся бы в этом даже перед тем ослом, который говорил о любви» Все, кто считал нас безумными, правы. Я не совсем здоров.

Он отер ладонью лоб, словно и впрямь совершал тяжелую работу, и сказал:

– Душа моя не совсем здорова, но безумие мое – не из самых страшных. Многие убивали друг друга, убивают и сейчас... По сравнению с ними – я нормален. Но когда я увидел его, я все увидел. Я увидел Церковь и мир. Церковь бывала безумной здесь, на земле, такой же самой, как я. Но все же именно мы при мире – как санитары при больных. Убивать дурно даже тогда, когда тебе бросили вызов. Но ваш Ницше говорит, что убивать вообще хорошо. Пытать людей нельзя, и если даже их пытает церковник, надо схватить его за руку. Но ваш Толстой говорит, что никого никогда за руку хватать нельзя. Так кто же безумен – мир или Церковь? Кто безумней – испанский священник, допускающий тиранию, или прусский философ, восхищающийся ею? Кто безумней

– русский монах, отговаривающий даже от праведного гнева, или русский писатель, вообще запрещающий сильные чувства? Если мир оставить без присмотра, он станет безумней любой веры. Недавно мы с вами были самыми сумасшедшими людьми в Англии, а теперь... да Господи, мы самые нормальные! Так и можно проверить, кто безумней, – Церковь или мир. Предоставьте рационалистов их собственной воле и посмотрите, до чего они дойдут. Если у мира есть какой-то противовес, кроме Бога, – пусть мир отыщет его. Но ищет ли он его? Да этот ваш мир только и делает, что шатается!

Тернбулл молчал, и Макиэн сказал ему, снова глядя в землю:

– Мир шатается, Тернбулл, вы это знаете. Он не может стоять сам собой. Оттого вы и мучались всю жизнь. Нет, сад этот – не сон, но мир, сошедший с ума. Он помешался, – продолжал Эван, – и помешался на вас. Теперь суд миру сему. Теперь князь мира... да, князь мира будет осужден именно потому, что взял на себя суд. Только так и решается спор между шаром и крестом...

Тернбулл резко поднял голову.

– Между шаром и... – повторил он.

– Что с вами? – спросил Макиэн.

– Я видел сон, – отвечал Тернбулл. – Крест в этом сне упал, шар остался.

– И я видел сон, – сказал Эван. – Крест в этом сне стоял, шар не был виден. Сны эти посланы адом. Чтобы поставить крест, нужен земной шар. Но в том-то и разница, что земля даже шаром быть не может. Ученые вечно твердят нам, что она – как апельсин, или как яйцо, или как сосиска. Они лепят из нее сотни нелепых тел. Джеймс, мы не вправе полагаться на то, что шар останется шаром, что разум останется разумным. Шар мира сего покосился набок, и только крест стоит прямо.

Оба долго молчали, потом Тернбулл нерешительно произнес:

– Заметили вы, что с тех пор... ну, с тех наших снов... мы и не взглянули на наши шпаги?

– Заметил, – очень тихо отвечал ему Эван. – Оба мы видели то, что ненавидим поистине, и кажется, я знаю, как это зовется.

– Неважно, как это назвать, – сказал Тернбулл, – если ты этому не поддаешься.

Кусты расступились, и, перед друзьями встал главный врач клиники. На сей раз в его глазах не было и тени усмешки, они горели чистой ненавистью, которая гнездится не в сердце. И в голосе его было не больше иронии, чем в железной дубинке.

– Через три минуты быть в больнице, – с сокрушительной четкостью произнес он. – Всех, кто останется в саду, расстреляем из окон. Выходить запрещается. Много разговоров.

Макиэн легко и даже радостно вздохнул.

– Значит, я прав, – сказал он и послушно пошел к дому.

Тернбулл боролся минуту-другую со страстным желанием – ударить как следует главного врача, потом смирился. Им обоим казалось, что чем меньше они будут делать, тем скорее придет счастливый конец.

## Глава XX В ОНЬЙ ДЕНЬ

Подходя к зданию больницы, наши герои увидели, что главный врач сказал правду: из каждого окна торчали какие-то блестящие стальные цилиндры, холодные чудеса современной техники. Свое действие они уже оказали – не только Макиэн и Тернбулл, но и все обитатели сумасшедшего дома, и все врачи, и все санитары шли из сада в больницу. Когда же они все вошли в огромный зал и железные двери закрылись за ними, Тернбулл чуть не упал, ибо в нескольких футах стояла девушка с острова – Мадлен Дюран.

Она прямо смотрела на него, тихо улыбаясь, и улыбка эта освещала мрачную, нелепую сцену, словно честный и радостный очаг. Как и прежде, она откинула голову, а в мягкости ее взора было даже что-то сонное. Ее он увидел первой и несколько мгновений видел ее одну; но потом заметил другие лица. Золотобородый толстолицый беседовал с лавочником, которого они когда-то связали. Подвыпивший херфордширский крестьянин беседовал сам с собой. Кроме судьи Вэйна, здесь был его секретарь; кроме мисс Дрейк – ее шофер. Однако сильнее всего удивило Тернбулла вот что: он шагнул было к Мадлен, но смущенно остановился, ибо увидел над ее плечом еще одно широкое лицо с седыми баками. Тернбулл вспомнил Дюрана; вспомнил его скучное, несокрушимое здравомыслие, его приверженность к общим местам, и поистине крикнул про себя: «Ну, если *он* здесь, на воле нет никого!» Потом он снова двинулся к Мадлен, все так же улыбающейся ему. Макиэн уже подошел к Беатрис уверенно, как наделенный неотторжимым правом.

Тогда и раздался жестокий, леденящий кровь голос. Глава больницы стоял посредине зала, оглядывая его, как оглядывает художник только что оконченную картину. Он был красив, но лишь сейчас стало ясно, чем отвратительно его лицо: брови были так изогнуты, а подбородок так длинен, что казалось, будто оно освещено снизу, как у актера.

– Итак, все в сборе, – начал он, но тут перед ним появился мсье Дюран и заговорил тем самым тоном, каким говорит с метрдотелем француз-буржуа: очень быстро, но совершенно четко, и без каких бы то ни было эмоций. Сама живость его речи породилась не гневной страстью, а разумом. Вот что он сказал:

– Я привык пить за обедом полбутылки вина, а мне его не дают! Моя дочь должна быть со мной, а нас разлучают. Я ни разу не ел здесь мяса, хотя сейчас не пост. Теперь мне запретили гулять, а в мои годы без этого нельзя. Только не говорите, что все это законно. Закон стоит на общественном договоре. Если гражданин лишен удобств, которыми пользуются даже дикари, этот договор можно

считать расторгнутым.

– Перестаньте болтать, мсье,– сказал доктор Хаттон; главный же врач молчал.– Мы подчиняемся закону, что и вам советую. Кстати, тут повсюду пулеметы.

– Прекрасные пулеметы,– признал Дюран.– Должно быть, смазываете керосином. Так я говорю, если нет самого необходимого, договор аннулирован. Казалось бы, ясно.

– Ну, знаете! –воскликнул доктор Хаттон.

Дюран слегка поклонился и куда-то исчез.

– Итак, все в сборе,– брезгливо повторил главный врач.– Должно быть, многим интересно, почему они здесь. Сейчас объясню, все объясню. К кому же обращаться? А, вот, к мистеру Тернбуллу! У него научный склад ума.

Тернбулл налился кровью, главный врач откашлялся.

– Мистер Тернбулл прекрасно знает, как доказала наука, что никогда не было так называемой крестной смерти. Подобных суеверий много, и все они похожи. Мы успешно опровергли так называемые чудеса. Однако в наше время возникло новое суеверие – распространился нелепый слух о шотландце, который хотел сразиться за честь так называемой Девы. Мы разъяснили, что этого быть не может, но люди невежественны и падки на романтику. Этого шотландца и еще одного, его противника, стали считать чуть ли не героями. Мы приняли все меры. Тех, кто заключал пари о мифической дуэли, мы арестовали за азартные игры. Тех, кто пил за здоровье мифических лиц, мы арестовали за пьянство. Однако народ не унимался, и мы прибегли к проверенному методу. Мы доказали научно, что история эта – выдумка. Никто никого не вызывал на дуэль. Никогда не было человека по фамилии Макиэн. Все это миф в мелодраматическом вкусе. Создали же его несколько человек с неустойчивой психикой. Так, некий Гордон, владелец антикварной лавки, страдает викуломанией – навязчивой идеей, что его связали.

– Одна несчастная женщина,– голос его стал ласковым,– верит, что она ехала с мифическим шотландцем в машине: типичный случай, связанный с иллюзией быстрого движения. Другая, не менее несчастная женщина, страдающая манией величия, возомнила себя причиной дуэли. Мы собрали всех, кто вообразил, что видел что-либо, связанное с этим мифом, и доказали, что они невменяемы. Поэтому вы все здесь.

Оглядев снова сцену с жесткой улыбкой, профессор Л. удалился, оставив во главе санитаров Хаттона и Квейла.

– Надеюсь, больше у нас затруднений не будет,– сказал доктор Квейл, обращаясь к Тернбуллу, который тяжело опирался на стол.

Не поднимая глаз, Тернбулл поднял стул и швырнул его во врача. Макиэн схватил отлетевшую ножку и кинулся на его коллегу. Двадцать санитаров бросились к ним; Макиэн отбил от трех, Тернбулл – от одного, когда сзади раздался крик.

Коридоры, ведущие в зал, были полны голубого дыма.

Через секунду наполнился дымом и зал, а в нем замелькали пчелами алые искры.

– Пожар! – крикнул Квейл,– Что такое? Как это могло случиться?

Глаза у Тернбулла засветились.

– Почему началась Французская революция? – спросил он.

– Не знаю! – крикнул медик.

– Тогда я скажу вам,– сказал Тернбулл.– Она началась потому, что некоторые люди думали, будто французский лавочник так солиден, как кажется.

Он еще говорил, когда мсье Дюран вернулся в зал, вытирая запачканные керосином руки.

– Теперь доктора уйдут! – закричал Макиэн.– И санитары уйдут, мы останемся одни.

– Откуда вы знаете, что мы уйдем? – спросил Хаттон.

– Вы не верите ни во что,– ответил Макиэн.– Значит, боитесь смерти.

– А вы идете на самоубийство,– хмыкнул медик.– Нормально ли это?

– Мы идем на месть,– спокойно ответил Тернбулл.– Она нормальна.

Пока они беседовали так, все санитары и служители в полной панике бежали по саду. Но ни один из больных не шелохнулся.

– Мы не хотим умирать,– сказал Тернбулл,– но вас мы ненавидим больше смерти. Это – удачный мятеж.

Над их головами уже образовался просвет, и в него было видно, что в небе висит какая-то блестящая штука. В дыре появилось лицо главного врача. «Квейл, Хаттон! – сказал –он.– Полетите

со мной». И они, как автоматы, поднялись по спущенной им лесенке.

Но существо с длинным подбородком сказало напоследок:

– Кстати, какой я рассеянный! Вечно что-нибудь забуду. Этого человека я как-то забыл на кресте св. Павла, а теперь вот – в палате, а там самый пожар. Весьма неприятно... для него.

Макиэн кинулся в полный дыма коридор. Тернбулл посмотрел на Мадлен и побежал за ним.

Пробившись чудом сквозь горящие деревья, они добежали до знакомых палат. Однако разглядеть, где старец, мешал не мрак, а ослепительный свет: пламя стояло стеной, как золотая пшеница. Шум был такой, как на многочисленном митинге, но Макиэн расслышал сквозь него какие-то звуки и кинулся в самое пламя. Тернбулл схватил его за локоть.

– Пустите! – воскликнул Эван. – Он жив, он зовет на помощь. Или кричит от боли.

– Разве это крик? – сказал Тернбулл. – Он поет.

Деревья упали, и голос стал слышнее. Старец пел, словно птица.

– Да... – горестно сказал Тернбулл. – Хорошо быть слабоумным. – И крикнул: – Вы можете выйти? Вы не отрезаны?

– Господи! – сказал Макиэн. – Теперь он смеется.

– Выходите, дурак вы этакий! – крикнул Тернбулл. – Спасайтесь!

– Нет! – воскликнул Эван. – Не так. – И он закричал очень громко: «Отец, спаси нас!» Огонь поднялся высоко, словно деревья дьявольского сада или золотые драконы, пытающиеся вырваться. Точнее сказать, что огонь был подобен сатане.

– Отец, – снова крикнул Макиэн, – спаси нас всех! Огненный лес покачнулся и распался надвое, словно поле пшеницы, по которому идет человек. Дым уже не вздымался к небу, а стлался по земле, как побежденное знамя. Когда затихли отзвуки Макиэнова крика, огонь лежал двумя мирными холмами, а между ними, как по долине, шел маленький старец и пел, словно гулял в весеннем лесу.

Когда Джеймс Тернбулл увидел это, он протянул руку и, сам того не зная, оперся о сильное плечо Мадлен. Заколебавшись на мгновение, он положил руку на плечо Эвана. Глаза его были сейчас сияющими и прекрасными. Многие скептики ругали его потом в журналах и газетах за то, что он предал стоящий на фактах материализм. До сих пор он и сам верил, что материализм стоит на фактах, но, в отличие от своих критиков, предпочитал факты – даже материализму.

Старец шел и пел. Эван упал на колени, и через мгновение за ним опустилась Беатрис. Когда на колени упала Мадлен, за ней опустился Тернбулл. Старец прошел мимо них, меж огненных холмов. На лицо его никто не глядел.

Когда он прошел, они подняли головы. Высоко над ними сверкнул самолет, освещенный снизу. Вдруг от него отделились две черные точки и полетели вниз. Кто-то крикнул, все отвернулись, ибо то были мертвые тела Хаттона и Квейла.

– О Господи! – крикнула Беатрис, – Они погибли! Эван обнял ее и сказал ей:

– Они спаслись. Он не забрал с собой ни единой души.

Огонь угасал, и в пепле сверкали две тонкие линии – две шпаги, упавшие крестом.